Антон ЮРТОВОЙ

МИРАЖИ ИСКУССТВА

18+

Антон Юртовой

Миражи искусства

«ЛитРес: Самиздат»

2010

Юртовой А.

Миражи искусства / А. Юртовой — «ЛитРес: Самиздат», 2010

ISBN 978-5-532-09804-6

Из интеллектуального родника. Пожалуй, так можно коротко передать характерное в содержании этой книги. Читателям она может быть любопытна особой, искренней преданностью автора тематике светской духовности, культуры и художественной эстетики. Повествуя об их состояниях и проблемах, он выражает свои суждения нетрафаретно и независимо. Несомненна их актуальность, причём, как можно предполагать, не только на текущий момент и не только для России.

ISBN 978-5-532-09804-6

© Юртовой А., 2010
© ЛитРес: Самиздат, 2010

Содержание

Публицистика 5
Былое и думы 6
I. ШЕСТИДЕСЯТНИКИ 6
II. РЕГИОН ПОЛЗУЧЕ СПОКОЕН… 15
Наследие 21
НА ВЕСАХ ПОЧИТАНИЯ И ЗАБВЕНИЯ 21
Этюды о культуре 25
ПЕСНЯ ВНЕ ПРОСТОРА 25
I 25
II 37
Этюд-поэма 48
ТАБАК 48
Аспекты личностного 57
ГОЛОС НАД БЕЗДНОЙ 57
Театр: от порога до кулис 69
ЦВЕТЫ ВДОХНОВЕНИЙ 69
Конец ознакомительного фрагмента. 71

Публицистика

Дешёвого резца нелепые затеи…
Александр Пушкин

Былое и думы

I. ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

Когда ввиду ущербных амбиций государства оно превращается в угнетателя и нарастает его стремление паразитировать, жизнь общества уходит в застой и тем лишается будущего. Позаботиться о её встряске и что-то менять кардинально властям на этом этапе уже бывает, как правило, не по силам. В апатии и в бездействии вместе с ними начинают пребывать также все, кто только мог влиять на общественные процессы официально. В таком случае серьёзно обмыслить причины происходящего и указать пути обновления жизни становится острейшей проблемой социума.

Право на её решение переходит к людям, зачастую далёким не только от рычагов управления государством и его сферами, но даже не всегда знающим самих себя, своих возможностей и устремлений. Едва проявившись в обществе, оно, это право, обречено быть только неписаным, что даёт властям основания не признавать или даже преследовать его вместе с его выразителями. Третирование обозначает, что тут уже есть оппозиция, и она в начале далеко не политическая. Имеет место лишь усиление общей любознательности и эмоций, и не где-нибудь, а в той части народа, которая по сути своей почти никогда не склонна к чёткой организованности. Ей, по её природе, ближе не структурная организация, а единство по духу, по устремлённости к новизне, по восприятию. И более всего – по степени внутренней, персонифицированной свободы. Речь, конечно, идёт об интеллигенции. Из-за того, что управлять её воззрениями почти невозможно, в бывшем Советском Союзе, где ей не находилось места как самостоятельному классу, её третировали с особым старанием, низводя к нулю. Ничего из этого, как мы знаем, не получилось. Наоборот, именно ей, интеллигенции, суждено было сыграть тогда роль движения «бури и натиска». До настоящей поры это не отмечено сколько-нибудь благодарной оценкой поколений. Налицо только то, что о своём вкладе в развал обречённого режима не забыли сами участники движения, назвавшие себя шестидесятниками – по отрезку XX столетия, когда их родство было уже вполне отчётливым и восходило к своим вершинам. Не нашлось пока никого, кому это скромное самообозначение оказалось бы не по нутру. Всё тут, стало быть, правильно. Только что мы теперь знаем об этом сложном и любопытном явлении?

Что и как происходило на самом деле?

Установление отличий и льгот со стороны государства, даже незначительных, в короткий срок способно выявить массу желающих получить их. Способ заигрываний с народом через подачки – верный путь к абсурду, к тотальному развращению людей. Если бы сегодня вдруг кому пришла в голову мысль отблагодарить шестидесятников не только морально, но ещё и материально – денежно, медалями (с рублёвой доплатой) и проч., – то, без сомнения, нашлись бы целые тьмы заявителей о своих заслугах. Как это случилось, например, с детьми далёких военных лет, собиравшими колоски на сжатых колхозных и совхозных нивах. В подавляющем большинстве это занятие состояло в коротких прогулках подростковой ребятни за окраины сёл, когда в школах некому было проводить с ними уроки. Или провозглашалась какая-либо очередная партийно-комсомольская блажь, типа субботников, ставившая целью всколыхнуть молодёжный энтузиазм и любовь к родине. Ни о каком серьёзном дополнении к сборам зерна при использовании столь сомнительного «внутреннего резерва» страна никогда не говорила ни слова. Несмотря на это с момента оглашения специального президентского указа, вводив-

шего льготы для «сборщиков колосков», число таковых составило миллионы, и оно, это число, увеличивалось ещё много лет спустя.

По сравнению с их «свершениями» заслуги подвижников «бури и натиска» представляются намного существенней и более ярко. Чего стоят, скажем, личности Визбора, Высоцкого, Рубцова, Любимова, Окуджавы, Рязанова, Бродского, Говорухина. Таких имён, которые сегодня широко известны и уже приобщены к истории отечественной культуры, наберутся целые плотные списки. Воздать им особую честь было бы в высшей степени справедливо. Однако наше государство к этому совершенно не готово да у него не может появиться и такого желания. Одно дело, что роль интеллигенции ему, как и предыдущему режиму, представляется аморфной и малопонятной. В какой форме признавать её заслуги, если их брать «вообще», а не «от» профессий? Или – не признавать? Другое, – что понадобилось бы раздавать отличия, возможно, буквально каждому, кто принадлежал к той эпохе, что хотя и тяжело для бюджета, но в определённом смысле тоже оправданно. Стоит в этой связи припомнить хотя бы то, насколько масштабными были дискуссии о положении в стране и в жизни, проходившие на кухнях и в квартирах, в те времена ещё нередко – общих, а, кроме того, и на служебных площадках, не исключая даже кабинетов таких инстанций, как политбюро ЦК КПСС или КГБ.

Разумеется, явление «бури и натиска» вбирало в себя много анклавов; каждый имел свои краски, рассмотреть которые было бы весьма интересно и притом – с разных точек зрения; в тщательном анализе нуждается, однако, в первую очередь то, каким оно было само по себе, в его нераздельности.

Если, оглядываясь на середину прошлого века, вспомнить такую тогдашнюю устную духовную продукцию, как анекдоты, короткие, порою на ходу выдуманные сентенции, то, пожалуй, вот вам и случай убедиться, как сильно могло всё общество нуждаться в освобождении от перестоя в одной неудобной позе, а в каком-то смысле и – от самого себя, такого, каким оно было. Как безымянное творчество, сверхмобильное и не поддающееся никакому не только официальному, но и этическому удержу, анекдот, помимо ярких остроумных описаний фактического развала всего вокруг и соответствующего бесцеремонного юмора, включал в себя и матерную великорусскую грязь. Вот во что суждено было выплеснуться желанию общества жить свободно! Ничто иное – в условиях тотальных идеологических запретов – просто не годилось.

Влияние этого жанра не поддавалось измерению, настолько оно было огромным. Рассказывали анекдоты в курилках, дома, на работе и на службе, при любых встречах, в любое время дня и ночи. Ими не гнушался никто, ввиду чего становилось нормой строго на них не реагировать. Уже поутру клерки могли преподнести очередную замудрённую и в то же время простецкую, даже похабную новинку своему начальнику, почти не опасаясь нареканий. Рассказывать было не боязно и кому-нибудь из незнакомых, особенно в дороге, в местах ожидания, на разного рода съездах, сессиях, слётах, иногда – прямо с трибун. И что ещё удивительнее: анекдотов хотели, торопили с рассказом их первых обладателей, а потом сразу ждали уже следующих свежих. Целые их россыпи служили, как правило, к ободряющей консолидированной потехе, не устремлённой никуда. Но воспринимавшие их люди, не все, но многие, уже не могли не становиться другими. Ещё не переменив своих действий и даже не пересмотрев их, они были принуждены думать. В таких обстоятельствах оказывались подданные вассалов прошлых столетий и сами вассалы, слушая правдивые беспощадные и дерзкие откровения официальных придворных шутов. Теперь же роль шута впервые в истории брало на себя целое общество, и, безусловно, в себе такой феномен нёс огромные знаковые потенции.

Кто бы ни взялся внимательно вникнуть в эту часть духовного состояния тогдашнего советского общества, он был бы одновременно и восхищён, и разочарован его содержанием. Наряду с точными и наглядными указками на несовершенства государственного правления, повседневного быта, привычек, на возможные решения многих проблем в анекдотах сверх

меры присутствовал неуёмный шовинизм, какого в достатке было ещё до событий 1917 года. Он перешёл в новую эпоху, существенно обновившись и расширив свои рамки за счёт текущего фактажа. На этот раз более всего в нём замечалось язвительности и зла, причём далеко не безадресного. Сейчас многие задаются вопросом: как получилось, что в своей стране, где народом будто бы никогда не прерывалось культивирование милосердия и толерантности, мы имеем пышные бутоны и даже готовые, составленные букеты национализма? Винить тут одни власти – и неверно, и нечестно. В устных анекдотах времени застоя народ, что называется, от себя говорил об этнических элементах без обиняков и при этом опускался до самых крайних низин спесивости и бестактности. На фоне массового любования всем, касавшимся русских, выдавались изощрённые оскорбляющие экивоки в сторону этносов, находившихся и далеко, и совсем рядом. Доставалось американцам, англичанам, французам, немцам, грузинам, татарам, китайцам, неграм, но, пожалуй, больше всего – евреям, украинцам, армянам и чукчам. Какие были основания чуть ли не во всех армянах-мужчинах усматривать гомосексуалистов? Или – отдавать на откуп армянскому радио скабрезные издевательские вопросы и ответы на них? А для чего то и дело высмеивали умственную, интеллектуальную недостаточность, будто бы присущую чукчам? Кроме чисто национального арсенала, задиравшего и глубоко оскорблявшего нации и народности, имели хождение анекдоты о личностях. Например, о Чапаеве и его соратниках.

Что тут было целью?

Если вспомнить, как рассматривали тему социального зла и сострадания наши писатели-классики, то уже у них эти составляющие нравственности имели заметную примесь высокомерия над нерусскими. Кого мы называем автором изречения, где утверждается, что там, где нашему – хорошо, немцу или англичанину – смерть? Его более молодой современник Гоголь на этот счёт также выражался далеко не скромнее. Хотя подобные экивоки воспринимались больше, может быть, как шуточные или полушутливые, но вот что касается еврейства, то уже и во времена Пушкина представителей этого народа не считалось зазорным обзывать жидами. И не только в устной форме, а и в художественных произведениях, не исключая пушкинских. Нам тут не терпелось даже погордиться: вот мы какие! Позже Горький, хотя он также часто плёлся в аналогичном небрежении к инородцам, тем не менее честно обращал внимание на исходившую отсюда злобность окружавших его людей, большей частью одной с ним нации, злобность какую-то совершенно немотивированную, переходящую в потребность причинения физической боли первому встречному и прямо сейчас. Почувствовать, насколько значительным было такое явление в царской империи, нетрудно, читая рассказы указанного писателя о его странствиях по Руси в молодые годы, в частности, рассказ «На соли».

Оскорбления других помогали, может быть, прочнее удерживаться на своей почве, подобно тому, как, по уверениям умников даже с учёными степенями, в случаях стрессов этому способствует настоящая, отборная матерщина. То, что мат был неотделим от анекдота, заставляет склоняться именно к мысли об укорении так называемой титульной нацией в собственных бедах кого-то, кроме себя. Это – наихудшее из того, что является ментальностью русских, особенностью, которая появилась отнюдь не из-за вывертов советизма и не может не вызывать стойкой ответной неприязни. Она пришла из глубины прошлого и в принципе неустраняема, как бы взвешенно и вежливо тут ни объясняться.

Как способ воспламенения взаимной неприязни, анекдот системно разводил нерусских по разным углам. Но одновременно он их ещё брал и в союзники, что явно было новинкой. Объяснялось это несложно. Ведь по своей главнейшей функции он у себя в отчизне служил единству, единению. Союзниками становились все нерусские, когда они сами рядились в тогу шовинистов, так сказать, от лица титульной нации. Стыдливо пряча свои обиды, возникавшие от получаемых оскорблений, они совершенно легко рассказывали всем пакости насчёт таких же униженных, как сами, а иногда и прямо о себе. Этот род угодничества и услужения был

поразителен тем, что проявлялся добровольно, безо всякого принуждения и, казалось, даже вовсе без причин. Здесь, конечно, присутствовал элемент испорченной общей, служебной или корпоративной этики, некие другие основания. Но о таких тонкостях никто из униженных рассуждать не брался. Стыд всё глубже загоняли себе вовнутрь, а рабская преданность, которой титульники ни открыто, ни исподволь никогда ни от кого не требовали, выставлялась напоказ, как весомое достоинство, как знак желания пощекотать слабых и, значит, также себя той же дубиной. Что же до главных носителей шовинизма, «старших братьев», то, имея столь странную, почти как собачью поддержку, они могли уже донимать «иных» своим выдуманным превосходством с какой угодно степенью изощрённости и как бы не видя здесь ничего плохого.

Предвосхищение свободы мнений в уродливых постыдных формах сильно кружило неразумные головы. В целом анекдотами дополнялось то непрерывное третирование людей мертвящей идеологией, каким их накрывала коммунистическая партия. Власти легко терпели общенародное шутовство, хорошо понимая, что, как и в вассальные времена, превращать его в средство или в ориентир для открытого сопротивления практически некому. И неизбежно опрокидывались даже те крохи гражданственности, какие сложились. Гибли этические ценности. Самое же неприятное состояло в том, что никто не знал, куда идти дальше. При всей интеллектуальной мощи, не только отечественной, но и мировой, объяснить, как выйти из невыносимого советского тупика, вовремя и толково не смог никто. Хватало обругиваний режима из-за рубежа, всевозможной фантастики, но конструктива не набиралось. Это было настоящей общественной драмой, если не сказать больше. Поступки, прямо направленные к отрицанию устоев, даже сегодня, с открытием отдельных секретных архивов, можно сосчитать на пальцах. И то по большей части они – спонтанные. Показательно, что инициатива здесь принадлежала представителям самой власти. Не кто иной как ненавистный Берия стал автором ряда предложений, включавших задачи резкого отхода от неэффективных методов государственного правления и выбора в сторону демократии почти что западного образца. Непосредственно в поступках выразилось неприятие режима флотским офицером Саблиным, жителями Новороссийска, учёным Сахаровым, московской группой несогласных с вооружённым насилием над Чехословакией. В остальном радикализм оставался втуне.

До обидного отстранённым от судеб отечества и народа выглядело старшее поколение, пережившее войну, вынесшее на себе и фронтовые, и тыловые злоключения. Смелости перед лицом внешнего врага ему оказалось недостаточно для того, чтобы, занявшись восполнением вещного урона от войны, навести порядок социальный, при котором больше бы следовало работать не на государство, а на людей, на общество. Вместо этого набирали оборотов почивание на лаврах, сентиментальное самолюбование, бахвальство, парадность. Правительство использовало такой ресурс, укрепляя им свою телегу. Как бы в память и будто бы воевавшим и тыловикам не успели воздать должного прокатились шумные запоздалые кампании по раздаче наград и материальных льгот. Получавшие их невольно становились отдельным сословием. Ощущая заботу, играя на своей боли, они в дальнейшем настойчиво требовали новых, ещё более широких льгот для себя. Общественная активность поколения в результате падала до обывательской. Люди, отстоявшие страну от фашизма, ждали очередных подачек от государства и могли считать себя важнее и нужнее других. Идеалы защиты, не исключавшие обязанностей постоянно стремиться к лучшей жизни для социума в целом, и не только в случае войны, терпели позорное крушение, ослабляя и без того слабевшие конструкции.

Чего-то существенного не привнесли тут даже самые униженные, репрессированные большевиками и постепенно выходившие на свободу, проведя в лагерях и тюрьмах десятки лет. Их возмущения обходились без активного действия; там совершенно не проявилось организационное начало. Вернувшись на волю, Солженицын и Шаламов подробно и скорбно описали ужасы, испытанные ими в заключении, дали правдивые оценки сатанинскому бессудному преследованию миллионов, но эта прибавка хотя и была свежей, под стать очередному смелому

анекдоту, всё же в системе духовности являлась только прибавкой: котёл всё ещё не был полон, и всё, что в нём оказывалось, хотя и грелось, но вскипеть ему не хватало энергии.

Из этого видно, как застой оборачивался поражением не только для власть имущих, но и для народа. Бездействие, плохая работа, апатия, равнодушие – всё это, если речь шла о выполнении правительственной воли, присутствовало всюду и едва ли не в каждом. Не принимая идеологических догм, люди, словно под гипнозом, продолжали строить своё поведение и творчество в пределах, указанных им сверху. К резкому изменению массового сознания не могли привести даже возросший уровень начитанности художественной литературой и периодикой, потребление высокой культуры в эфирном и в зрелищных представлениях. Багаж усвоения обществом культурных ценностей хотя и рассматривался как необычный и едва ли не рекордный в мире, но найти применение свежей мысли оказывалось невозможно. Соответственно буксовала система образования; она всё дальше уходила в схоластику и в зубрёжку. В услужении прозябали общественные науки, прежде всего история и социология. Творчество гуманитариев эстетического профиля начинало сводиться к изобретению новых для себя аспектов, которые увлекали в знакомую всем показуху. Например, писатели поднимали так называемую деревенскую прозу. Там считалось чуть ли не за гениальность изображать персоналии самого нижнего общественного положения, но, якобы, знать не знавших ни о какой политике, ни о какой стоявшей над душой большевистской партии. Их преподнесение читателю как «самих по себе», когда не показывались и даже не брались в расчёт конкретные виновники угнетения, выражало не настоящую жизнь, а служило всего лишь метой разлитого в обществе безразличия и безучастия к окружающему, а, значит, и – к себе. Такой вид самоедства нельзя было прикрыть даже отменной стилистикой изложения, и если деревенскую прозу брать в целом, скажем, в русскоязычной художественной словесности, то в ней по прошествии времени почти не отстоялось ничего ценного для новых поколений. Аналогичный результат имела, продвигаясь по времени, почти вся духовная сфера. Внутри страны совершенно не проявила себя отечественная философия – как форма познания общественного духа и бытия через их анализ и размышления о них.

Рассуждая об этих предметах, нельзя, конечно, не отдавать отчёта в том, какому тяжёлому официальному воздействию подвергались в советском периоде и все, кто хоть чем-то был занят на пространствах духовности, и вся их интеллектуальная продукция. Большевизм, как организованное насилие над обществом, причём насилие особо жестокое, изощрённое, никому не оставлявшее послаблений, он, этот поршень влияния, разрушаясь сам, обрекал на порчу и погибель также и то, на что только мог влиять. В итоге несостоятельность перед лицом новых востребований обретали, можно сказать, все сферы жизни без исключения. Интеллектуальный, творческий потенциал общества нёс при этом потери невосполнимые. Там, где следовало быть духовным наработкам, засияли обидные, оскорбляющие пролысины и пустоты.

Ничего удивительного не было в том, что в обществе пышно цвела, кроме самоедства, ещё одна низменная потребность – самому глумиться над плодами своего выражения. Государственная цензура дополнялась негласной, исходившей от затюканных исполнителей и часто направленная решительным неприятием интеллектуального даже не стороннего от себя, а и своего собственного, личного или коллективного. Сколько из-за таких запретов не выросло, не дозрело творческих замыслов, добротных проектов, сколько устраивалось грозных общественных обсуждений и осуждений инакомыслящих! Разгром лучшего только в научной генетике и в кибернетике на десятилетия отбрасывал страну в прошлое. И ведь не всегда подталкивали к тому властные и административные органы. Борьба с инакомыслием во многом велась руками слишком ретивых прислужников, которые никак не хотели отставать от непосредственных управителей. Это те, о которых издавна говорится, что они не ведают, что творят.

Здесь будет, наверное, уместно рассмотреть подобные извращения с точки зрения той реальной свободы, которая уже вызрела в застойном социуме. Совершенно очевидно, что своё

тупиковое положение уже достаточно ясно тогда осознавали верхи. В таких условиях не сохраняются в полной мере жёсткие рамки тоталитарности и соответствующего насилия. Преследования «нулевой» оппозиции хотя и продолжаются, но уже не в пределах кодекса, а выборочно. В перемол попадали наиболее заметные – по мыслям, излагавшимся в дискуссиях или в рукописях, по неопытности в поведении, прямые нарушители закона, такие как, скажем, торговцы валютой. Когда их, таких людей, становилось больше, власти начинали придумывать для их острастки новые виды наказаний, часто по ложным, сфабрикованным основаниям. В моду входили врачебные диагнозы, по которым обвиняемых упекали в психушки. Но само увеличение количества деяний в пику верхам по-своему давало знать ещё и о том существенном, что в обществе плохо осознавалось. А именно, что свободами, которые желательны, уже, что называется, можно было пользоваться, то есть – раз их прибавилось, то надо научиться пользоваться ими шире и постараться приобрести их ещё больше. К сожалению, здесь никто не посчитал тенденцию важной.

В совокупности с анекдотской вольницей и развитием других новых средств общительности начатки свободы хотя уже и представляли собой серьёзное приобретение, но в её русле все-таки недоставало позитива.

Поскольку при этом почти не возникало конструктивных предложений, а политические требования выражались каплей в море и ввиду укрытости их со стороны государства не могли быть хотя бы искрой для подражания, такая свобода, если и должна была восприниматься ощутимой величиной, то не иначе как антиподом свободы настоящей, истребованной в пользу демократии. Говоря по-другому, имело место явление под стать произволу, слепой, отупелой анархии, и, как ни горько теперь об этом говорить, не делавшее чести обществу. В тех условиях и наше правозащитное движение, начинателями которого были узники совести, также варилось само в себе.

Его требования сводились к тому, чтобы инакомыслящие, попадая в отсидку и там находясь, имели достойные условия содержания, а также возможность открыто и на деле опротестовывать предвзятые приговоры суда. Программный диссидентский вклад как будто и не был мал и даже мог всячески приветствоваться, в том числе демократическим зарубежьем, но в нём ничего не содержалось на перспективу. Ни до какой разработки новой системы обережения права для всех на случай, когда оно бы в таком полном виде понадобилось и могло создавать гарантии подлинной защиты каждого, правозащитное движение в то время не дорастало. Не доходило и до составления чертежей нового права. Изо всей защиты, как процесса, для истории остаются лишь отдельные имена отсидников, боровшихся голодовками и снискавшие себе славу мучеников.

Положение менялось, когда при поддержке диссидентов из-за рубежа значительная их часть в СССР начинала покидать родину. Из них составилась масса, всколыхнувшая информационный вакуум. Но считать причастными к этому всех выезжавших или, как они о себе говорили – выездных, нельзя. Информационную встряску обеспечивали в первую очередь интеллигенты медийного профиля, деятели искусства и литераторы, объединившие усилия с интеллектуальной эмиграцией послереволюционных лет. Пласт поднятых ими проблем и требований, включавший патриотствующую политологию, быстро приобретал очертания сферы, где преобладающими становились анализ и пополнение духовной культуры. Именно эту часть помощи из-за рубежа с невероятной скоростью впитывало в себя дичавшее советское общество. Начиналось массовое узнавание дотоле запрещённых режимом, а также появившихся новых кинофильмов, художественных полотен, книг. В них люди искали высветов будущего. С появлением телевидения и передвижной звукозаписи шло жадное восприятие западного песенного искусства, джазовой музыки, стилей свободного поведения. Тут не такими уж частыми случались лучшие, достойные образцы. Тем не менее закрома уже наполнялись, дорога в никуда худо-бедно была перекрыта. К шестидесятникам приходила их настоящая пора.

Кто были эти люди?

Кажется, не будет ошибкой, если всё, чем успевало проявить себя взятое за рубежом, оценивать без лишней патетики, не слишком высоко. Воздания должного оно, безусловно, требует, но, как здесь уже было сказано, по качеству его влияние полностью устраивать общество не могло. Что за ценности к нам приходили? Что несли они? Десятилетия спустя мы увидели, что в народе наряду с анекдотствующим шовинизмом вызрели сдвиги в сторону противоположную, в сторону любования иностранным, и такое любование сплошь и рядом неискреннее, замешанное на чувствах иждивенчества, на желании получать от заграницы то, чего в родных краях не удаётся получать из-за неумения организоваться и эффективно работать. Как и в прежние времена, люди нехотя идут к осознанию своих потенций, апатично голосуя за тот порядок, при котором большинству перепадают крохи, что-то вроде подачек. Правда, в таких обстоятельствах резко убыло мерзкого в отношении, скажем, к еврейству, но зато чуть ли не за «старших братьев» сходят представители стран, именуемых как цивилизованные. Если бывают народы-оборотни, то не его ли черты столь заметны в современной России?

Разумеется, не о таких переменах могли мечтать подданные советской империи. Движение «бури и натиска» меньше всего нуждалось в задешевелой антифобии. Оно требовало простора, универсальности, открытости. Признавалась полезной только такая независимая искренность, которая исходила от конкретного человека, от личности, от индивидуума – где бы, в каких бы ситуациях он ни оказывался. «Жить не по лжи» – так говорил об этом Солженицын. Формула звала действовать, используя крайнюю пассивность при исполнении заданий и установок, содержащих очевидные или скрытые возможности урона, несовместимые с идеалами порядочности и добра. Как ни спорным был этот совет для тех, кто хотел приносить стране свою старательность, всё же в нём давалось некое представление о развитии. Раньше не было и того. Последним сигналом, которым на предыдущем этапе фиксировалась полная остановка общественной жизни, была поэма Твардовского «За далью – даль». Кроме того, что даль, как будущее, называлась и экзальтировалась, ни на что большее литератор указать не смог. В итоге рецепт Солженицына требовалось-таки поуважать. Его сторонников находилось немало, а вот в чём должны выражаться их поступки, если «поступать» требовалось как можно меньше, они представляли слабо. Прежде всего потому, что они сильно страдали комплексом неполноценности, какую уготовила им судьба. Речь шла о том, что было в высшей степени важно, когда людям, желавшим предметного обновления и участия в нём, приходило время делать самые первые шаги.

Мешало здесь обычное стремление каждого делать свою жизнь как можно обстоятельнее, с уверенностью, что задуманное воплотится. То есть, как и всегда, не мог не увлекать карьерный рост. Однако советский строй изначально обязывал любого, поступавшего на штатную работу, отказываться от своего «я». Режим устраивало только безоговорочное подчинение то ли служебному приказу, то ли концептуальной догме. Выдержать этот диктат оказывалось практически невозможно, но он ведь ещё укреплялся почти поголовным членством молодёжи в комсомоле и необходимостью перехода из него в партию – только в этом случае карьерный рост представлялся как возможный в реальности, а не мнимый. Ввиду вот такого положения вещей тотальное отторжение от свободы, неважно – в производственной или в духовной сферах, испытывало всё трудоспособное население государства. По крайней мере, об этом говорили все госпрограммы и партийные директивы. Желанные ниши за этими рамками должны были открываться и осваиваться лишь на страх и риск одержимых, бессребренников. Такие люди находись, и было их уже немало. О том, что они теряли, им следовало вовсе не размышлять. Кого-то из них отсеивал комсомол, кого-то – партия, кто-то сам, зазевавшись, никуда не успел и уже не спешил. Плюс к тому, надо ещё знать, что собой представляла послевоенная молодёжь.

Миллионы детей поднимались на ноги, не имея родителей, не имея угла, не зная ни комфорта, ни стабильного куска хлеба, ни чьей-то заботы. Школа указывала им идти вслед за взрослыми. Однако иного существенного влияния дети не испытывали. Их богатством было неосознанное свободное пребывание в доставшемся им мире. В то же время в детской среде не существовало тогда столь массовой и разнузданной преступности, как позже. Всё вместе взятое, кажется, и послужило становлению того нового человека, который уже мог позволить себе не согласиться с окружавшей задрёманностью, с фальшью, с показухой.

Нынешним старшим поколением, видимо, ещё не забыты весьма частые эпизоды, в которых узнавались выплески бродившей и нараставшей народной интеллектуальной мощи. В каком-нибудь клубе в фойе или на его крыльце, отступая от официальных затей учреждения, экспромтом давали открытые бесплатные концерты местные молодые музыканты-любители. Трубачи, флейтисты, баянисты, скрипачи, барабанщики. Сообща или сольно играли моментальные импровизации, и порой они собирали внушительную публику. Много импровизировали клубные и ресторанные духовые оркестры.

Свежая музыка притягивала тем, что в ней лучше всего укладывалось чувственное, не увязанное ни с какими установками, запретами или даже традициями. С музыкой активно смыкалось пение. Во дворах оттачивали свой стиль энтузиасты, сочинявшие песни и исполнявшие их под аккомпанемент гитары. Там же, как и в учреждениях культуры и в местах развлечений, шло становление вокально-инструментальных ансамблей. Картину этого, набиравшего силу, всеобщего безостановочного фестиваля новой низовой музыкальной культуры дополнили поклонники высокой поэзии. Те, кто умел сочинять стихи, восхотели ознакомить с ними всех желающих.

Улицы, открытые площадки, постаменты, входы в метро, в театры, даже в госучреждения и на предприятия – всё превращалось в арену для деклараций. В порядке вещей было услышать там стихи и целые поэмы, посвящённые, скажем, голой лунянке, и воспринималось это уже отнюдь не как самая крайняя вольность. Признаком появления свежих ветров становились турниры интеллектуалов широкого гуманитарного профиля. Они в большинстве также были открытыми. Соперники одолевали друг друга энциклопедическими знаниями, почерпнутыми из книг, доступных для чтения, а также из соответствующих фильмов, спектаклей, радиопередач, сообщений прессы. Когда эта глыбистая масса новоиспечённой духовности начала закрепляться на внутренних сценах, в студиях, в аудиториях, в редакциях, то стало ясно, что у неё достанет решимости оттуда уже не уходить ни при каких обстоятельствах. В полный голос заявили о себе поэты и песенники на вечерах в московском «политехе» и на других известных площадках. Тогда же страну потрясли откровенные и близкие всем песни Высоцкого.

Если эту эстетическую волну брать в целом, то в ней преобладали те элементы, которые не испытывали воздействий партийной идеологии. Ни в репертуаре, ни по отношению к участникам действа. Этого, самого, может, главного, лишены были все профессиональные работники культуры, входившие в творческие союзы или служившие во благо так называемой самодеятельности, угнетаемой одной и той же политической партией. Государственная политика была такой, что членство в компартии для работников культуры практически исключалось. Даже в головных учреждениях партийные организации формировались из очень узкого круга коллег. В массе же сценические, концертные, писательские и другие творческие коллективы имели партячейки почти символические по численности. Так на деле решался вопрос о доверии интеллигенции.

Из этого следовало, что эстетствующие энтузиасты, пришедшие, что называется, с улицы, оказывались беспартийными сплошь, а, значит, им отводилась роль своеобразных изгоев. Многие ими так и оставались, предпочитая находиться вне учреждений и платной профессиональной занятости – странствовать, подрабатывать в кочегарках, дворниками, ютиться на чердаках.

Так формировался общий свободный пласт. Он оказался вне воздействия со стороны верхов. Такого воздействия, которое заставляло бы его меняться к пользе управителей. И как раз это, видимо, было решающим. Подобно тому, как под напором востребований признаются весьма ценными некоторые как бы лишние для своих периодов вещи или наработки умов, сброшенные историей под ноги или в море, так же в указанное время застоя призван был обратить на себя внимание конгломерат изгойства, тщательно притоптанный или утопленный современниками. Государство в нём не нуждалось, но он не мог не интересовать его – как не обретающий иммунитет к подчинению, к безоглядному рабству, подставляющий себя свободе.

Что получилось в итоге?

Если опаре не дать «подойти», это обязательно скажется на качестве испечённого хлеба. Наш хлеб вышел довольно горьким. Те люди, которые сегодня ударяются в ностальгию по жизни в застойные времена, плохо сознают сыгранные ими роли. Это при их «неустанном» труде, часто никудышном по качеству и, значит, – противонравственном, верхи могли чувствовать себя непревзойдёнными стратегами, звать и тащить за собой забитое, ослепшее общество.

Конечно, подчинявшихся, согласных на обман самих себя, на подачки, не знавших, что им делать, кроме своей унылой работы на государство, было большинство. Отнести их к сословию, назвавшему себя шестидесятниками, категорически невозможно. Большинство, сцементированное убогой идеологией и преступными законами, единогласно голосовавшее за власть изощрённого вранья и демагогии, оно-то, это большинство, и ставило точки над i в тех местах, где для страны такое действие становилось особо чреватым. Вмешиваясь в политику государства своим согласием на рабство, бывшие послушные работнички только то и делали, что отворачивались от вопросов о собственной судьбе, от будущего. Только подумать: от непонятных и нигде вовремя не оглашённых бериевских позывов к демократии до момента, когда Андропов предложил определиться, где, собственно, все мы находимся, пролетело целых тридцать лет, и опять же и в этот раз, как и в начале того злополучного срока, только сама власть делала попытку уйти вперёд себя. Понятно, столь странная инициатива была в её преступном интересе. Но народ-то! Он так и не сумел ничего сказать, отмолчался, отделываясь пустяками, когда, например, громко шумел о своих трудовых свершениях или на стадионах, до визга радуясь какому-то голу.

Чего удивляться, что при всём этом и то лучшее, на что были способны шестидесятники, не смогло добавить нужной энергии для желаемых перемен и не получило сколько-нибудь серьёзной общественной оценки. Какое-то время оно ещё оставалось на виду, будучи ярким, но не сильным. В катализатор брожение так и не превратилось.

Впоследствии новые динамичные силы вынуждены были рыться в своих проблемах как бы на пустом месте. Ни толковых проектов права, ни отчётливых концепций развития культуры – ничего этого шестидесятники не наработали. Не по своей, можно сказать, вине, и тем не менее об этом приходится только сожалеть. Наша новая конституция вышла сырой, невзвешенной. Как и её предшественница, она остаётся в стороне от паразитирования верхов, от нескончаемой неразберихи, продажности, алчности, от неумеренного вранья и самоедства. Люди так и не знают, что за стеной. Нарастает общее отупение среды. По-прежнему легко уверить любого, что от него всё зависит, что он патриот, если болеет за немощную отечественную сборную. В ходу плоские, никому не интересные анекдоты, никто не радуется хорошей книге, хорошему стиху, вразумительным доводам. И то сказать: правила-то у нас берутся наобум, с улицы, не от ума, от вертепа, от азарта – правила игры! И мы, впадая в безволие, в расхлябанность, в бездумное «согласие», уже опять никуда не хотим идти.

Давно сказано: уроки истории не служат впрок никому. О шестидесятниках мы постыдно отмолчались, хорошо зная, что подобное общественное явление в наших землях наблюдалось

ровно сто лет назад от предыдущего. По его следам и писали и говорили немало. Кстати – без особой пользы. Так хоть говорили и писали. Что мешает нам, свидетелям свободы, пусть пока что и суррогатной? Уроком, «зарубкой» остаются, конечно, не сами явления; они ушли, ну и ладно. Важны выводы. Впору задуматься, что всё-таки значит наша интеллигенция, что ей принадлежит, что по силам. Ведь, как представляется, не так уж и редко воля к переменам больше свойственна именно ей, а отнюдь не партиям, не политикам. Выраставшая в России числом и совокупным интеллектом с XVIII века, она становится величиной определяющей при формировании общественного духа, а, значит, также и всего бытия. Несмотря на это её продолжают третировать. По-прежнему отдаётся предпочтение работающему лопатой, наёмнику. Но, как было и раньше, идти в наём интеллигенция не расположена. Делает это с огромным усилием над собой. И сама решать свою судьбу впредь она также, похоже, не собирается и не способна.

Не счесть общественных коллизий. Другие как-то да разрешаются. А эта словно не из одного теста. Тем и любопытна. Будет небесполезно хотя бы изредка к ней присматриваться…

II. РЕГИОН ПОЛЗУЧЕ СПОКОЕН…

В конце каждого лета памятью мы ещё долго будем обращаться к одному неяркому, но важному по значению событию. С 19 по 21 августа 1991 года Россию «защемило» при попытке реакции силой сменить уклад общественной жизни. Возник и неуклюже действовал Государственный комитет по чрезвычайным положениям – ГКЧП. Ниже рассказывается, как событие было воспринято в Мордовии.

Слова «узурпаторы» и «путчисты» в моём отчёте с протестного митинга, проходившего в столице республики по случаю возникновения ГКЧП, благополучно улеглись на новостной ленте единственного официального союзного информагентства – одного из крупнейших в мире. Отсюда материал буквально через минуты устремился в зарубежье и по своей стране. Читали его на ленте и у себя в регионе. Не только необычные по отношению к тогдашним властям нарицательные обозначения остались нетронутыми при обработке и утверждении текста редакторами и цензором; сам отчёт, хотя и предельно ужатый, как того требовала практика срочных сообщений, вопреки грозной сути чрезвычайного положения также «проскочил» на выход почти без купюр в сторону кондовой коммунистической традиции.

Это можно было считать стопроцентной удачей.

Конечно, тому помогли обстоятельства.

Брошенное людям «сверху» обещание обеспечивать максимум гласности очень обнадёживало, но выполнить его оказывалось нелегко. Давили рычаги тоталитаризма: решения высших инстанций часто без причин, даже не будучи тайными, замалчивались; вовсю действовало пресловутое «телефонное право»; не унималась цензура, как прямая, так и в самых разных оболочках. И всё же проломы в закрытости увеличивались в размерах, и их становилось больше. Ко времени путча, на седьмой год перестройки, теперь уже основательно забытой, организации и объединения, в том числе неформальные, имели возможность устраивать митинги и собрания, и там вызревали оппозиционные предложения и требования; редакциям отдельных средств массовой информации удавалось отойти от абсолютной опеки режима и в своих публикациях толковать происходящее с применением фразеологии младодемократов; и представители режима понемногу учились и привыкали кое-чего «не замечать», кое на что «не обращать внимания», разумеется, не забывая при этом отслеживать любые действия оппозиционеров-«зачинщиков» и даже просто нелояльных с целью последующей их дискредитации.

В такой-то круговерти и стала возможной удача с оглашением моего срочного сообщения. В самом информагентстве не обошлось, с одной стороны, без искреннего, тёплого расположения ко мне моих друзей, которых было немало в аппарате, и не где-нибудь, а на главном выпуске. С другой, – повлияла атмосфера подавленности каждого из сотрудников и руководителей агентства после заявлений ГКЧП о его действиях и намерениях. Без сомнения, она, эта тяжёлая атмосфера, была ощутимой едва ли не в первую очередь и для аппаратного цензора, который в данном случае мог предпочесть позицию, близкую к нейтральной, или он, возможно, был уже тогда расположен «не замечать»…

Взвешивая все эти и другие особенности момента, я приходил к выводу, что они уже в значительной степени указывали на то, что вскоре обернулось падением недальновидной власти. В какой-то мере и я мог считаться причастным к нарастанию перемен. Дело в том, что ещё до событий ГКЧП в еженедельнике «АиФ» печаталась моя статья с критикой своего работодателя. Этот монстр, говорилось в публикации, будучи частью административно-бюрократической системы, давно перестал учитывать пожелания народа и ограничивается обслуживанием отживающих структур. Его деятельность круто деформирована зависимостью от ЦК КПСС. Там, например, согласовывают планы коллегии, выпрашивают ресурсы и надбавки к зарплатам. Ведущее информационное учреждение великой страны многие десятилетия подстраивается под нужды и диктат верховного партаппарата, специализируется на подготовке материалов главным образом для центральных газет и эфирных СМИ в тональности рапортомании – и т. д.

Такое в те поры никому не прощалось. Взялись «достать» и меня. В газетах – от заводских до цековских – появились пропартийно-менторские опусы-выволочки на мой счёт. Давались прозрачные намёки на неотвратимое возмездие.

Не замедлил вызов «на ковёр» в Москву.

Там у своего руководства я ощутил полнейшую обструкцию в обращении. Скоро она проявилась в конкретных мерах. Были уменьшены средства на содержание бюро, которым я заведовал; мне понизили должностной оклад; организовали недопуск меня в здание у Никитских ворот – в офис агентства; предложили перевестись из Мордовии в другой регион на выбор – подальше от Москвы.

Это была лишь малая часть наваленных на меня огорчений. Оправдывая то, о чём также писалось в «АиФе», работодатель действовал сообща с местным областным комитетом компартии. А тому церемонии со мной были в то уже неспокойное время явно некстати. И однажды я был уведомлен о требовании от него навсегда покинуть Мордовию в 24 часа, с семьёй.

Над моими коллегами, работавшими в регионах, такая мера устрашения со стороны местных партийных органов постоянно висела всей своей жандармской тяжестью; некоторым она искалечила судьбу. Мне тоже ничего приятного не светило.

Учитывая это, решаюсь на необычное: никакого отъезда! А когда в грубой форме от меня потребовали объяснений, попросил письменного юридического обоснования. И, как ни странно, – подействовало! Больше о высылке меня речи ни разу не заводили ни в обкоме, ни в Москве. Но не следовало забывать о коварстве дуэта, поскольку был с ними ещё один, невидимый сообщник, с названием из трёх букв – КГБ. Определённо дело варилось в его котле и там же устаивалось. И если правдоподобны те данные периодики и целого ряда тогдашних оппозиционных политиков, что уже в первый день путча именно в сети КГБ шло составление списков лиц, подлежащих аресту или даже уничтожению, то тем более и я, уже сполна испытавший коварство обречённого режима, не мог недооценивать и не опасаться его бесчеловечной мощи.

Замечу для непосвящённых и для молодых, что митинг протеста, о котором я говорил выше, состоялся уже на второй день краткой эры «правления» ГКЧП. И внешне, и внутренне новая жизнь уже по-своему и достаточно быстро набирала оборотов и устанавливала только ей присущие парадигмы. Они были, на мой взгляд, очень странными.

Ещё накануне с вечера телезрители увидели в союзной студии новых дикторов, неизвестных обществу. Некая тоскливая виноватость и одновременно озабоченно-примятая, верноподданнически-примитивная суровость на их лицах мало соответствовали содержанию читаемых ими официальных текстов; однако виделось их желание по-настоящему поддержать ГКЧП, ревностно ему послужить. Возникали вопросы: «Откуда эти люди?» – «Почему читают?» Наблюдения за дикторами давали, казалось, больше и чем оглашаемые ими, полные авантюры, официальные тексты, и чем «посиделки» в телеэкране прямых авантюристов, имевших разбухшие и растерянные физиономии.

В тот же вечер обзвонил знакомых, друзей, функционеров, поинтересовался, как смотрят на события. Ничего внятного. Насторожённость, готовность перейти в изматывающее пережидание. Утром показ «посиделок» и чтение официоза по телевидению продолжились. Оттиски документов ГКЧП дала газета обкома «Советская Мордовия». Это было закономерным. Издание, на фоне общего просветления умов тарабанившее о демократии, свободе, гласности, перестройке, согласии и прочей атрибутике сверхполитизированной демагогии, выдало себя с головой и с потрохами.

Когда позже его редактора Пыкова спросили: мол, как же так, провинциальные газеты такого же ранга, хоть далеко и не все, в знак бойкота «шедевров» ГКЧП публиковать не стали или сняли с печатания, оставив на страницах слепые «окна», почему вы поторопились выйти с полными текстами, это же прямая поддержка ГКЧП, то он ответил примерно следующим образом: это, видите ли, не поддержка; просто, печатая даже такую информацию, мы стремимся быть объективными – пусть люди знают всё.

Мне такой ответ остроумным и тем более честным не казался и раньше, не кажется таким и теперь, спустя годы. Человек явно прятался на нейтральной полосе, где тоже ведь небезопасно: захватить её готовится каждая из враждующих сторон. Тут скорее мимикрия, изнанка объективности. Ведь только подумать: откуда проявлялась забота о том, чтобы люди знали всё? От газеты обкома! Да о гнёте компартии над людьми, о её преступлениях, зажиме свободы издание к тому времени не рассказало и тысячной доли фактов правды, а как запахло переходом к услужению новому владыке, тут же неоглядно представляемся… объективистами.

Никак нельзя было рассчитывать на то, что *такая* газета соизволила бы взять с телетайпной ленты и напечатать моё сообщение, поступившее в редакцию к моменту вёрстки номера следующего дня. Лишь тогда бы можно было считать позицию издания объективной… А так – редакция только уведомила обком о появлении крамолы, и, приняв оттуда указание «не допустить», продолжила обычную для себя линию тусклого и трусливого услужения.

Я вспоминаю об этом спокойно и в спокойствии сравниваю позиции тогдашнего Пыкова и тогдашнего моего родного цензора. Как много сходства и как мало различия!..

Митинг на городской площади, прошедший хотя и на подъёме откровенности и ожиданий его участников, в целом вызывал определённую долю грусти. Что значат мнения тех немногих людей, смело выставлявших себя прямо напротив зла? Как может обернуться для них развитие событий с утверждением установок, провозглашённых путчистами? Вопросов набиралось всё больше. И все они «зависали», ничего не проясняя. А причины для того, чтобы их задавать не только себе, имелись весьма существенные.

Подобные митинги прошли в тот день ещё только в райцентре Ковылкино и в промышленном посёлке Комсомольский. В них тоже участвовали немногие. Это – на весь регион. Каждую из этих сходок со злым любопытством и пристрастием плотно «опекали» функционеры парткомитетов и многочисленные гэбисты. От начала проведения до конца. На предмет не забыть, не упустить ничего. Как их учили. И вот уже привычно заработала система служебных отчётов. В строжайшей тайне заводились новые дела о субъектах неблагонадёжности, полетели наверх доклады предварительные, доклады и содоклады аналитические, обзорные, резюмирующие.

К концу дня изо всего, чем и как жила Мордовия за время с момента извещений о появлении ГКЧП, вылупилось в обкоме такое: регион спокоен; антипартийных и антиправительственных проявлений нет; граждане повсеместно подают примеры понимания своей ответственности, продолжая традиции активного подвижничества в труде – и проч. Об этом сообщалось им же, гражданам. Залопотали местные телевидение и радио, бросились набирать умиротворяющие фальшивые строки газеты. В Саранске выпускалась тогда газета, издававшаяся горсоветом и шедшая не в ногу. Об этом горсовете, не сумевшем ужиться с обкомом, в республике знали хорошо как о сочувствующем населению представительном органе, где завелись первые доморощенные демократы. Путч придал ему смелости и честолюбия. Именно он стал инициатором проведения митинга, а в качестве рупора ему служила его газета.

Доставалось от неё и партаппаратчикам, и ведомственным чиновникам, и даже верхам. И материалы ГКЧП она не стала печатать из принципа, и отчёт с митинга опубликовала без вранья. Да вот только оставалось это издание в регионе единственным в своём роде и с малым тиражом, а плюс к тому – скоро и в рядах горсоветовских младодемократов появились, как пузырьки из болота, собственные шкурники, любители поднажиться из каких угодно источников.

Позже, когда в штормах перемен шкурничество, быстро и многократно увеличиваясь, разродилось узаконенной воровской приватизацией, от горсовета, как от оплота местечковой демократии, остались у здешних людей только лёгкие и довольно смутные воспоминания. Один за другим «падали» его депутатские составы, скоро потухла и его газета, перемахнувшая в статус распространителя бытовой рекламы.

Как недалеко уносились в будущее блеклые светлячки ожиданий, тогда ещё видимые, но быстро исчезавшие по ходу несостоявшегося переворота! И как много чёрных пятен обрели они по удалении от прежней точки – пятен позора! Мы теперь почти весело глумимся над каждым из членов ГКЧП, над ГКЧП как целым и как явлением; но нам уже не дано испытать едва коснувшихся нас в те дни воодушевления и восторга участников тех единичных сходок, ответивших бесстрашием на вызов путчистов. Как общественные ценности, приобретённые с очень большим трудом, и тот светлый подъём духа, и та радость от сознания, что удалось выстоять перед серьёзной угрозой, очень скоро были, к сожалению, замяты в толчее сил, не имевших чётких представлений ни о своих намерениях, ни о путях, на которых эти намерения следовало бы воплотить в реальность.

Если бы окончанием путча стал его второй день, то мы имели бы основания считать его суть и его устроителей ещё смешнее, чем то вышло на самом деле. Дрожащие перед телекамерой пальцы рук главаря; невнятные хвастливые пояснения, где уже якобы фактически действовал режим чрезвычайки; на ходу придуманная байка о нездоровье Горбачёва; дикая приостановка выпуска ряда центральных газет; наконец инспирирование «массовой» народной поддержки, – обо всём этом каждый наблюдатель имел возможность подумать на свой лад; и почти у каждого не потерявшего здравомыслия вывод не мог не сводиться к тому, что затеянная наверху возня представляет не иначе как постановку театра абсурда. Кому нужно было такое встряхивание, после которого даже осесть ничего не может? – Всё устремляется в бездонную пустоту, ни на йоту её не наполняя.

Но кому-то же ведь могло быть всё это нужно и почему? Не только же организаторам балагана.

Часто для разрешения очень сложных вопросов не надо ничего, кроме времени. Это правило годилось и к обстоятельствам путча. Нужен был ещё один его день, и он пришёл, третий и последний.

На служебном уазике я ещё задолго до наступления утра по своему усмотрению выехал в командировку в Ардатовский район. Причину с выездом я для себя тогда объяснял так: то, что уже пришлось увидеть, услышать, узнать, – какая-то нелепица, наваждение, повлиявшее

на многих не в лучшую сторону. У людей обострялось отчуждение, пропадали искренность и наклонности к разговорам; сознание ворочалось туго, и поэтому осмысливать происходящее было нелегко, оставалось предаваться тягостному помалкиванию и тупо ждать. Замерли и власти. Живые настроения людей, похоже, мало ими учитывались. Ни «да», ни «нет». Скука. Присутствовать и пытаться выяснить в обстановке нечто новое уже не имело смысла.

Как я уже говорил, не следовало забывать и об опасности: авантюра могла увести в непредсказуемое, в том числе в репрессии.

Может, обстановка складывается по-другому в глубинке?

Проходя в темноте через центральную площадь и далее к гаражу, где брал машину, не заметил и не встретил никого. Но во многих окнах зданий обкома и местного КГБ горел свет; часть окон была освещена и в горсовете. «Переваривают», – пронеслось в голове. Весь путь при езде и по городу, и на трассе также не дал никаких признаков для беспокойства. А вот удивляться этому стоило: жизнь-то, выходило, как бы парализована! Скоро тому нашлись и яркие подтверждения.

В райисполкоме, у «самого», с которым были знакомы, когда он ещё работал в тамошнем райкоме партии, пытаюсь узнать, где и что происходит, принят ли сценарий ГКЧП.

Доронькин ворочается в кресле и что-то говорит, но содержания не понять. То ли ни «да», ни «нет», то ли и «да», и «нет» вместе. Посетителей с предприятий, из хозяйств и просто из числа жителей округи, которых у предрика в приёмной всегда целые косяки, – никого. Только один за другим приходят в кабинет и молча усаживаются его замы, доверенные.

Часть их также выходцы из райкома, его друзья, знают хорошо и меня. Здороваются, но разговоров никаких, только скупые редкие реплики на отвлечённые темы. ГКЧП старательно обходят. Однако шила в мешке не утаишь. Видно, что ночь, вторая ночь, для каждого протащилась беспокойно, тревожно, с изрядной долей стыда. Как поступить? И надо ли как-то поступать? Сейчас? Или – позже? Затуманено, запутано всё. Один из аппаратчиков вдруг начинает рассказ о себе. Своеобразная исповедь. Он всю ночь не спал. Думал. И принял решение. Пойдёт сдавать партбилет. В глазах чуть ли не слёзы. Мы все дружно и сочувственно помолчали. Было ли ему хотя бы от его друзей одобрение? Я не уловил его. Как не уловил и осуждения. Подумалось: и это опять – всё? Так – мало?

Конечно, я имел в виду не решение исповедовавшегося, а картину в целом.

Тяжело, как на финише. Но – будет ли финиш? Пусто в душе, и как-то даже неприлично. В конце концов, на дворе в разгаре уборочная страда. Кто-то как бы случайно вспоминает об этом первый и предлагает съездить в ближайшее хозяйство. Там решено и позавтракать.

Скоро группой уже въезжаем в Тургенево, и в стоящем у дороги домике правления колхоза сразу находим его председателя. Он суетлив и озабочен не в пример прибывшим: дел невпроворот. Схож с другими только запечатлённой на лице усталостью от недосыпания.

В кабинете он сначала выговаривается коротко и как бы через силу. Я спрашиваю об отношении к ГКЧП. Сузив глаза, он неожиданно прямо и резко бросает, что рад его появлению, так, мол, и надо было давно, а то нет никакой работы, одно безделье разводим. Ещё он сказал, что и в хозяйстве у него такой же настрой, с рассвета люди поучаствовали в разнарядках и лично им ознакомлены…

Мы потом ездили в поля, на фермы, на ток. Надо ли излагать, что довелось услышать от рядовых? Ещё позавтракали в колхозной столовой, хоть и с большим отрывом от утренних часов. Покормили нас, надо сказать, бесплатно, и председатель даже предупредил, что платы столовники не возьмут, им так приказано.

Настроение от этого не улучшилось. На лицах представителей районной советской власти как очутилось, так и оставалось тоскливое недоумение. Это их подчинённый, председатель артели, вроде как отстраняя их, своею волей ставил себя на передний план! Казалось, мы сидим окружённые стражей: малейшая неосторожность дорого может стоить…

Памятное пребывание в колхозе ГКЧП на том закончилось. Дальше происходило падение самого ГКЧП.

С местными газетчиками я узнал об этом уже в другом хозяйстве, в совхозе, где директорствовал Вячеслав Кокин, тоже мой давний знакомый. Славный такой мужик, без комплексов. Принял нас у себя дома, где смотрели телевизор, как раз те кадры, когда Ельцин и Хасбулатов проходили сквозь весёлую толпу соратников на сцену, чтобы поставить точку в деле, заведённом призраками. Не преминули затем окунуться в реке Алатырь и по полной чарке принять, что называется, для окончательного промыва.

Тяжесть отходила, и свобода представлялась нам красивой и нежной как молодая цветущая девушка. Нисколько не думалось о том, что это: упавшее с неба, у кого-то отобранное или адресный дар от кого-то?

Оценки всегда приходят позже.

Через них, неотчётливых и неизменно увлекающих, мы все любили её, свободу, всё больше и больше, но, к сожалению, только изредка воспринимая её хрупкой, что, думается, непростительно. Наверное, потому так быстро померкли перипетии той большой и тёмной беды, которую остановила не одна столица, но и провинция, избравшая средствами защиты доселе непостижимую уйму народной «глухой» терпеливости и тяжелейшего пережидания.

То, что после происходило в России, ещё так мало увязано и объяснено через эти безыскусные средства. И не от того ли валятся нам на головы потрясения и напасти, что мы до сих пор не умеем осознать и оценить себя?

С тех пор, как пало ГКЧП, властям не раз удавалось «выезжать» на беспардонной эксплуатации потенциала, резко проявившегося в населении в течение трёх окаянных дней.

В то время как безграничная терпеливость народа уже приобретала отчётливую форму отупения и забитости, политики нового образца, на манер того же ГКЧП, продолжали и до сих пор продолжают называть её «мудростью». Тем самым приостанавливались и гасились истинные массовые ожидания и надежды. Рвение, надо сказать, не по уму. За ним утрачивалась всякая перспектива. Она до сих пор туманна…

Плохо, всё ещё плохо в России с извлечением выводов. Может, когда-нибудь это изменится…

Наследие

НА ВЕСАХ ПОЧИТАНИЯ И ЗАБВЕНИЯ

[Какова сегодня судьба творческих наработок Бахтина]

Отзывы о людях, ставших известными, получаются всего ценнее, когда они исходят от современников, очевидцев, тех, кому судьбой довелось бывать с оригинальными личностями рядом, знать их непосредственно в жизни, в быту. Но и то – если их рассказы по-настоящему непредвзяты, честны.

Из воспоминаний о Михаиле Бахтине, преподававшем в Саранске, нахожу лучшим то, как о нём отзывалась его соседка по подъезду в доме на улице Володарского Антонина Шепелева. Пожилая женщина не оглядывалась на подрисованную молву о человеке, который на протяжении многих лет был у неё и у других соседей по дому, что называется, на виду. Говорила простыми словами и о простых вещах. В результате мы узнали о страдальце филологе едва ли не больше, чем изо всех других воспоминаний вместе взятых, написанных как в России, так и за рубежом.

Он, оказывается, не любил Мордовию и город, в котором здесь жил и работал. Огорчался из-за того, что не мог рассчитывать на понимание и чуткое интеллигентное отношение к себе не только со стороны учреждений власти, но и тех, кто окружал его на работе.

Из страха не «измараться бы» об него никто из них не сочувствовал ему в его беде, свалившейся в виде необоснованных официальных репрессий и чёрного пятна последующего непризнания невиновности, непрощения за судимость, что исключало для него возможность перебраться на постоянное жительство в Москву или в другой более-менее крупный город и вынуждало мириться с нескончаемым прозябанием в тоскливой провинциальной глуши. А в дополнение к этому простые обыватели норовили обобрать его под угрозой пакостных доносов. Не было сочувствия даже когда он стал калекой, ходил на костылях. Наверное, оттого он много курил, замыкался в себе и выглядел отрешённым, странным. А как нужно было ему понимание! Имея остатки былых связей в столичных мирах, он признавался, что ему самому не всегда нравятся многие собственные изыски в лингвистике и литературологии, что в них он нередко идёт по стопам других подвижников. Эти сомнения в себе, а также полное на протяжении долгих лет отторжение его трудов со стороны издателей и научных учреждений делали его фигурой поистине трагической.

Если отрешиться от пиетета и фальши в отношении имени и личности Бахтина, то, полагаю, было бы за лучшее признать, что трагическое в нём не устранено и спустя десятилетия после его кончины. В написанных им от руки сочинениях горьким напоминанием о загубленной судьбе смотрятся так до сих пор и не разобранные редакторами и составителями отдельные торопливые строки и слова, набатом звучат непродолженные записи размышлений. Таких мест особенно много в трудах, которые относят к разряду философских. Как не печалиться этим! Человек подлинной творческой устремлённости и чистоплотности, гуманитарий по духу, по складу ума, способный безбоязненно ставить новые важные вехи при альтернативном осмыслении жизни, он так надеялся, что написанное им сможет быть с готовностью принято его современностью, будет полезно ей. Но современность ничего не взяла. Не хотела, боялась брать. И ему хотя и хватило сил выстоять перед обстоятельствами, но не хватило жизни.

Новые поколения комментаторов как только могут искажают информацию о достоинствах всего, что Бахтин дал отечественной культуре. Был ли он философом? Говорят, что был, даже при всяком случае подчёркивают это. Но подчёркивают отнюдь не профессиональные и

по-настоящему компетентные мыслители, а краснобаи, устроители разного рода юбилеев, коллоквиумов, так называемых научных чтений, конференций и проч. На них съезжаются люди, в своём большинстве никогда, кажется, не читавшие Бахтина. Мне в этом пришлось убедиться во время научно-практической конференции памяти Рудины Александровой, проходившей в Мордовском университете.

Об Александровой там говорили как о талантливом учёном, известном разработками в этике. Якобы изыски в этом предмете были достойным развитием гуманитарного вклада, оставленного Бахтиным. Никто с этим не спорил, но и разъяснений, в чём состоял означенный вклад обоих учёных, не прозвучало никаких. Неподготовленность к обсуждению вопроса раскрыл самый высокий гость мероприятия – Абдусалам Гусейнов, академик РАН, в ту пору заместитель директора, а позже директор института философии РАН. Когда кто-то из выступавших посетовал, что, к сожалению, даже люди науки не читают Бахтина в достаточном объёме, академик тут же с этим согласился и заметил, что он сам прочитал только одно его сочинение. Оно было им названо. Я заглянул в книгу. Это был начаток произведения, оставшийся непродолженным. Считанное количество строк…

То, что у Бахтина усматривают философского, вовсе не есть по-научному строгое изложение. Это скорее вдумчивое рассматривание собственного внутреннего мира с попытками объяснений страшно интересного, но ещё непознанного в человеке. Именно в этой сфере духовного он размещает свои рассуждения о проблемах речевых жанров, о постижениях философии слова и языка, о новых задачах познания. Тексты любопытны тем, что воспринимаются как довольно свежие. И здесь ещё одна сторона трагизма в соотношении с именем исследователя. Многие обозначенные им положения и догадки успели получить обстоятельную последующую проработку и являются достоянием научной и общественной мировой мысли, но бахтинское разглядеть в таких трудах практически невозможно. Его наследие игнорировалось, тщательно укрытое массовым губительным замалчиванием в те времена, когда ещё в нём была острая потребность. И новым генерациям исследователей не оставалось ничего другого, кроме как воссоздавать существовавшую сферу знания, как правило, с нуля, перешагивая через историческое поле.

Примерно в такой же мере не использованы и пока ещё компетентно не вполне осмыслены многие труды Бахтина непосредственно филологические, то, что было ему профессионально ближе всего. Только в конце его жизни он был удостоен признания за отменное обширное комментирование творчества гигантов отечественной и зарубежной художественной литературы. Признания практически только за рубежом. Происходило это в период наиболее интенсивной критики СССР, как тоталитарного государства, со стороны Запада. И указанному разделу наработок мэтра филологии вполне уместно был тогда присвоен некий диссидентский знак. Можно, пожалуй, утверждать, что с этим отличительным знаком Бахтин воспринимается и сегодня, иначе говоря – исторически, в том числе в России.

В свете такого сомнительного уровня восприятия его имиджа удаётся без труда во вред делу выставлять на первый план политизированную подоплёку, искусственно припаивая к ней человеческую личность. Что, кажется, и происходит на самом деле. Перекошенный эффект играет при этом свою неблаговидную роль. Постоянно подогреваются неточные, произвольные оценки оставленного Бахтиным наследия.

Его мнимые знатоки могут обратить на себя внимание, к примеру, тем, что расскажут вам о полифоничном подходе или методе Достоевского при работе над своими романами. Это, мол, Бахтин раскрыл великую загадку известнейшего романиста. Насколько верно такое толкование? Филолог традиционной российской школы, не крививший ни пером, ни совестью, Бахтин только вчерне и довольно обтекаемо формулировал то, что могло бы по-своему служить объяснением глубинности эстетики у классика литературы. Но в высшей степени сомнительно, чтобы писатель XIX века, автор плотных по духовной насыщенности повестей и романов о

социальных язвах своего времени, создавал их, примеривая к какому-то, изобретённому самим же методу или к шаблону. Где в истории написания образцов художественной словесности можно было бы отыскать пример подобных, избираемых самим творцом и для себя же условных рамок? Разве что в советской эпохе, с её методом соцреализма? Достоевский, надо полагать, попросту изумился бы чьей-то неуклюжей попытке рассматривать его духовную лабораторию как персональную скорлупу, как прибежище. По-настоящему же речь тут может идти, пожалуй, только об устойчивом непонимании комментаторами и исследователями методологии самого Бахтина, определённой размытости в нём воззрений на мир, что, к сожалению, могло иногда приводить его если и не к явным схемам и тусклым выводам, то к чему-то близкому этому.

Что такое вот недопонимание имеет место, подтверждается запуском в оборот ещё и ряда других надуманных заслуг личности с загубленной судьбой. Заслуг, умещаемых в несложные метафоры, но так и не раскрывающих её содержания и её неповторимой необъятности и моторности. И это, собственно, всё. Недостающее заменяется несущественным, тем, что не в состоянии дать сколько-нибудь толкового и яркого представления о значении бахтинского творчества. Это и малочисленные да к тому же и весьма ограниченные в материалах музейные экспозиции в его честь, призванные возбуждать только плоский патриотический пафос у краеведов, и некая средненького достоинства пьеса о жизненных борениях мастера, сценическая востребованность которой не ушла дальше первой её постановки, и, конечно, разбросанные по календарю очень редкие отметины в виде пустых, отстранённых речей и статей, почти всегда официальных.

Считая, что таким вот образом задача проработки наследия успешно решается, раздувая пузыри великодержавной гордости и самодовольства, изображая неискреннюю умильную признательность, к Бахтину уже примеривают и соответствующие громкие титулы, называют его русским учёным с мировым именем, говорят, что настало время этого истинно великого философа и просветителя, и т. д.

Устыдимся этой выспренности и бахвальства. Они размещаются лапотниками от залакированной культуры и псевдонаучной культурологии на фоне тотального забвения о работах и о глубине бескорыстной души талантливого профессионала.

Какова степень его забвения в России, можно судить хотя бы по республике Мордовии, постоянно подчёркивающей, что это «территория» гения, «нисколько не уступающая» орловской – его родине. А зайдите в читальные залы, сходите на книжные развалы. Где он, этот автор? За вопросом, есть ли полное собрание его сочинений, нужно обращаться прямиком в академию наук и в её институты, поскольку менее солидные центры знаний ответить на него вроде как не в состоянии. Крупные библиотечные фонды на периферии имеют в наличии пока только отдельные бахтинские произведения, издававшиеся годы и десятилетия назад. Тут, правда, можно ещё обнаружить опубликованные скромные монографические и реферативные сочинения по теме российского и регионального бахтиноведения. Но во всей этой беллетристике сильно заметно желание авторов не отрываться в оценках от того самого, общепринятого отличительного символа, введённого «за диссидентство». Догматика здесь контрастно преобладает над подвижной научной мыслью, вследствие чего изложенное уже давно и практически полностью устарело, ни у кого не вызывая серьёзного интереса. Частью оно сейчас передвинуто в интернет.

Востребованность этой продукции ничтожно мала. В читательском обиходе книги и реферативный материал практически не участвуют. Совершенно равнодушны к нему писательские круги, педагогическая общественность. Негде услышать, каким образом следовало бы приладить доставшееся наследство к нынешней современности или к ближайшему от нас будущему и возможно ли это сделать вообще, в принципе. Так что к полному забвению исследователя и его идей и регионы, и страна в целом уже подошли, что называется, вплотную.

Малоискушённые в творчестве Бахтина журналисты временами шокируют публику задиристыми уличными эксклюзивами на тему: «Кто такой, по вашему, Бахтин?» Результаты плачевны. Люди не понимают даже, о чём их спрашивают. Опять же изредка распускаются домыслы о неких намерениях властей по части названия улиц именем Бахтина, закрепления памяти о нём в скульптурных композициях. Здесь тоже одна пустота. Как и простым гражданам, властям, видимо, не совсем понятно, о каком человеке идёт речь. Сквозь такую гнетущую духовную тишину периодически прорываются в эфир и на печатные страницы только бодренькие пассажи по случаю неких юбилеев, годовщин и прочих мало что значащих «культурных» мероприятий. Имя корифея отечественной российской филологии там, бывает, приводится, но это выглядит подобием почти случайных слабых отсветов, исторгаемых давно умирающей и уже основательно утухшей звездой на далёких пространствах космоса.

Некие подвижки к озвучиванию символа проявляются за рубежом, а следом, по-холопски, и в наших отечественных бастионах науки и просвещения. Заявляется, в частности, будто возросло количество ссылок на творческие наработки и на само имя Бахтина. Расценивают это опять же выспренно – как моду, вызванную востребованностью. Но никто что-то не говорит о содержании ссылок – они ведь могут быть и не в пользу модного автора.

Если для истории, то есть для множества поколений, Бахтин, с его трудами, действительно остаётся таким, как его успели втащить на незримые пьедесталы и там забронзовить усердствующие пристрастные официальные демагоги, то ясно, что воздать ему должное лишь такими накатанными средствами никак невозможно.

Этюды о культуре

ПЕСНЯ ВНЕ ПРОСТОРА

Вновь воротиться пора песне на лад путевой.
Рутилий Намациан

I

Сколько бы нас ни убеждали в том, что в настоящее время происходит будто бы необычайный расцвет песенного искусства, мы упорно не очень доверяем этому. Одобрительно воспринимается расцвет; мы его хотим; но, к сожалению, всё получается не так уж ярко, не таким радостным и желанным.

Более вычурного обращения с песней, чем сейчас, не бывало и не могло быть во всей мировой истории. Технические средства позволяют передавать её нам без певца или певицы. Вызревшее здесь мощное отстранение получило новый стимул с организацией жизни общества на принципах неумеренного потребительства. Спросом на песню, который в условиях провозглашённой личной свободы закономерно поднят из-за её способности быстро аккумулировать и разносить индивидуальное чувственное, во многом изменён облик исполнителя. Приобретаемые им богатство и слава превращены в атрибутику иерархичности, общественного положения. Исполняющие, а вместе с ними и творцы песенного репертуара, сколотились в ячейки и корпорации, предпочитая, чтобы в этой суженной нише протекала и вся их бытовая жизнь. Таким образом они отгородились от народа. Они держат песню на поводке. Народ, которому раньше здесь принадлежало всё, остался ни с чем.

Нет-нет да откуда-нибудь придёт сообщение о каком-то одиноком барде или небольшой группе, распевающих на площадях, в парках или в подземных переходах. Их роднит одно: они исполняют за деньги. Нам, нынешним, ещё никто не рассказал хоть об каком случае, когда такие любители пели бы иначе. Это стало будто бы невозможным. Иногда удивляют профессиональные певцы, устраивая бесплатные концерты. Но чему тут удивляться, если исполнителям, по их возможностям, это, как правило, ничего не стоит, а представления проходят в недоступных залах. Хорошо известна и корыстная тяга певцов за границу, где больше платят.

Самое из этого неприятное в том, что в обществе откультивировалось почтение и даже любовь к такой певческой братии. Восхищённые взоры обращены сплошь и рядом на исполнителя, представляющего иерархию, порой вопреки тому, что он поёт или спел. Эта ущербная традиция как-то, может, и говорит о ценности каждой творческой личности, но она же способна увести поклонение в абсурд. Мы его уже давно видим, особенно там, где пение получает оценку у фанатствующей молодежи. Как-то Макаревич, эстрадник, заметил, что «Beatles», как великолепная жанровая оригинальность, это, собственно, то, что ливерпульские ребята взяли как обычное и лишь на чуток его приподняли. Не более того. Кажется, в таком восприятии в немалой части присутствует истина. Яркое, свежее, свободное – неоспоримо; однако нужно ли стараться приподнимать его ещё выше уже искусственно, через процесс одобрения? А именно этим занята многочисленная армия любителей. Песни знаменитой группы используются как безусловный факт современности, как флаг, не так уж редко флаг шумливой толпы, мало заботящейся о деликатном обращения с плодами творчества музыкантов. Отсюда энергия перемещается ещё дальше. Сейчас вроде как поспокойнее и на свой лад можно трактовать то или

иное произведение песенной эстрады и бардовского творчества на разного рода диспутах и в тусовках. А ещё недалеко ушло время, когда имевшего своё встречное и необщее мнение об этих предметах могли выставить белой вороной; в подростковой среде подозрение к несогласному с позицией большинства могло выражаться и более строгой метой, а то и физическим воздействием, что наблюдалось не однажды.

Шумливые шабаши на пространствах исполнения и разрастания песни, стремление молодёжи задавать моду непременно под свои вкусы и пристрастия приводят к печальным переменам в назначении песенного искусства.

Что такое, собственно, есть песня?

Шовинистический угар, долго бушевавший в умах нашей империи, не давал возможности присмотреться к этому предмету основательно и детально. Общество, бывало, от души потешалось своим неприятием такого, например, очень простого выражения культуры, как пение в дороге не по-нашему. Наш-то, если уж поёт, то непременно мчится на тройке, у него или отчаянная любовь, или гробовая тоска, или он, одетый в дорогу по-зимнему, а ещё и в тулупе, ни с того ни с сего замерзает в степи рядом с ничего не подозревающим сопутником. Нам нравилось этакое кочевряженье и барина, и ямщика, и мы же постарались его романтизировать, к месту и не к месту разглагольствуя о непревзойдённых высотах своей изморённой чувственности, о загадочной русской душе и прочих подобных пустяках. Когда же речь шла о поющем чужом, где-то, скажем, в казахстанской степи, то мы привыкали рассуждать об этом по меньшей мере бестактно и бестолково. Ну, что, дескать, может там спеть этот самый чужой? И что его слушать? А между тем он всё-таки пел, пел много веков, продолжает петь поныне – едучи на верблюде, лошади или даже в машине. Нас, его не желающих понимать, он не послушался, поёт и всё, ввиду чего он для нас ещё более странен. Мы дошли до того, что осмеяли не только его пение, голосовое монотонное однообразие, но и столь же монотонное, по нашим представлениям, совершенно скучное речевое изложение песни. И, разумеется, мы только пали ниже в этой своей имперской спеси. Из соображений выброшено то, что о жизни, о едущем и о тех, к кому едет степняк, и голосом, и словом излагается, импровизируется, может быть, даже лучше нашего. Лучше в том смысле, что – без кочевряженья, без водочного угара, без пошлого симулирования самих себя пошлой, напускной мистикой.

Строя своё централизованное государство, Россия шла в направлении, по которому народное песенное искусство должно было вырастать в искусство профессиональное. Это, конечно, иная, более высокая ступень. Плохо только то, что после появления уже профессионального ряда почти резко было сброшено в пустоту оберегавшееся народом. Русские песни, особенно те, что появлялись на пространствах европейского юга страны, в огромном большинстве сходные по мысли и по интонированию с напевами степняков, теперь забыты и, может быть, забыты навсегда, навеки. Если все их напечатать вместе, набралась бы великолепная антология о множестве мощных томов.

Нам только кажется, что в этом огромном источнике мы уже хорошо разобрались. Историки совершенно не обращали пока внимания на тот факт, что в нашем прошлом уже имел место стиль исполнения, сходный с профессиональным. Это – эпические, былинные и боянные распевы. Им, по насыщению поистине могучим, как и всему народному, простора не хватало. Высокая лирическая настроенность, преобладавшая над житейской драмой, перехлёстывала за края, часто разливаясь и в обычной устной речи, и уже очень заметно – в знакомых нам текстах прозы. Лучший из них – «Слово о полку Игореве», где документальное повествование о событиях неотделимо от поэтического изящества. Откуда сей феномен? Комментаторы немало успели наговорить о таких вещах как осознание автором беды перед лицом врага, о стремлении к единству, к единой государственности. Но они совершенно не хотели замечать в этом и в других лучших древних текстах их особенности, исходившей от свободы, той ипостаси, в кото-

рой пребывали далёкие предки. Понятие боевых княжеских дружин, действительно, хорошо воспринимается в связи с какими-то их яркими подвигами и даже с поражениями. Но, как единицы, они формировались не развёрсткой, а по доброй воле. При суровой необходимости, но всё-таки – без принуждения, свободно. Была такая свобода ещё, как правило, дикой, порою близкой к анархии, к бесшабашной буслаевской вольнице. Но это вовсе не значит, что в расстановке исторических акцентов её можно сбрасывать со счёта.

Песенная культура Киевской Руси гибла вместе с тогдашним сообществом. Однако после того, как было покончено с Золотой Ордой, свобода, сходная с прежней, вновь заблистала на тех же пространствах и территориях. Крестьянина помещик на работы звал, а не тянул за шею. Если кто не соглашался, мог в наём не идти или же пойти куда-то в другое место. И перемещение также было свободным. Позже по образцу Польши произошло закрепощение бедняков крестьян. И с этого-то времени русская народная песня начинала истекать мелодикой трагизма и бедовой душевной подавленности. Они хорошо распознаются по сей день. Ничто не мило человеку. Всё не так. Скверно всем. Хуже всего – молодым. Невесту норовят выдать замуж не за того. У парня такая же проблема, а позже ещё и военная каторга длиною чуть ли не во всю жизнь. Песня об этом проста и, как правило, без длиннот, понятна и доступна для исполнения каждому, легко ложится на сердце, утихомиривает ярость от нескончаемой безысходности, от тоски, от огорчений, от неподвижности.

Когда народная песня повергалась профессиональностью, то были ещё иногда очень удачные попытки удержать её в жизни, уже, разумеется, в изящных профессиональных рамках. Вы только вслушайтесь в искрящиеся переливы импровизаций и вариаций, созданных для семиструнной гитары Сихрой. Его современники поторопились отвернуться от другого, чудовищно одарённого гитариста, самоучки Высотского, развивавшего вариации до невероятного разнообразия и поразившего ими самого Лермонтова. Они брали за основу мелодийный резерв обычных, по преимуществу даже просто бытовых песен, и, разрабатывая вариации, восходили с ними к высотам, недосягаемым во многом до настоящей поры. Таковы, без преувеличения, разработки песен «Из-за леса-лесочка», «Взвейся выше, понесися», «Получил от девушки письмецо сейчас», «Люблю грушу садовую», «Уж как пал туман», «Возле речки, возле моста», «Ах ты, матушка, голова болит» и десятки других. Эти мелодии восходят к той поре, когда тема, окунаясь в купель народного духа, вбирала в себя всю возможную гамму человеческой искренности и этнической тонировки.

В их содержании не могло быть высокомерия, случайного удальства, нападок и переложений вины на кого-нибудь, даже чрезмерных жалоб. Также не было в них выспренней патриотичности, уверений кого-то в любви к родине, неумеренного повтора названий своей государственной общности и всего такого подобного, что в излишествах присутствует в песнях нынешней современности, сочинённых и исполняемых на заказ. Устойчивое, ровное, почти что тихое выражение эмоций и душевных состояний. И этого было вполне достаточно, чтобы вызывать ответные глубинные выплески эмоционального и близкого в любом, кто слушал, а также и в самих исполнителях. Песни суровой крепостной эпохи, почти сплошь безымянные, и сейчас рождают благоговейный трепет искреннего сочувствия, в котором нуждались люди порабощённые, но сохранявшие свободной свою духовность; верится, тем их отличием они будут покорять нас и в дальнейшем.

Странное дело: когда вариации сочинялись уже «от» песен профессиональных, авторских, то нередко они получались, конечно, яркими и хорошо сработанными. Но в них уже отсутствует то, что было присуще напевам иных времён. Если говорить о профессиональном обогащении только современных русских мелодий, то оно происходит уже в ином измерении, где, кажется, не осталось ничего национального. Оно размыто и скрыто. Великолепное произведение, каким я считаю, например, вариации на тему песни «Подмосковные вечера», воспри-

нимается как-то почти фигурно, будто изваяние. Чувственность при его слушании движется скорее от осознания завидной мудрости поколения, сумевшего принять достойно взрощенную мелодику без корней. Нельзя, конечно, не восхититься и этим направлением в искусстве. Не найдётся, наверное, человека, будь он даже трижды модерновым, кому не нравилась бы простенькая и запутанная в своих же словах песня «На заре ты её не буди». Виртуозу Иванову-Крамскому в его вариациях удалось придать ей такое устойчивое многомерное очарование, какого, на мой взгляд, лишены даже многие симфонические пассажи. Но примеров таких безусловных удач не столь уж и много.

Временные разделы в развитии песни – это в наши дни предмет, остающийся за семью печатями. Непонимание и безразличие проявляют здесь и композиторы, и теоретики песенного искусства, и исполнители. Тому есть объективные причины. Всю гигантскую, необъятную сферу песенного творчества за пределами непосредственного создания авторской песни и её ларькового исполнения укрыл собою тяжёлый утупляющий академизм. Он претендует ни много ни мало как на роль ведущего в определении всей текущей судьбы песенного искусства, не давая себе труда помнить о том роде творчества, где оно не может быть иным, кроме как свободным.

Те разновидности государственных, научных, общественных и даже неформальных объединений, куда сегодня входят люди, занятые культурой песни, они ведь как бы по праву распоряжаются теперь и наработками прошлого, и анализом свежего песенного багажа. В их удушливых объятиях песенное творчество чем далее, тем больше приобретает черты ненародные, черты искусства для искусства, да к тому же не в меру настоенного на административных пристрастиях. Чуть ли не в высший пилотаж возведено при этом сочинение гимнов, патриотических, местечковых, корпоративных, подростковых и прочих распевов, чему следовало бы по-настоящему устыдиться в первую очередь сочинителям.

По всей видимости, пропаганда песни заведена сейчас в такой отдалённый тупик, где уже можно, не церемонясь, валить в одну кучу всё, что только поётся в пределах жанра, – от примитивных поделок для детворы до усложнений мертвящего академического толка. Неясны цели, неубедительны приёмы, нет, бывает, элементарных понятий о назначении и об истоках бытования песни.

Одной из причин этого слепого процесса надо, видимо, считать то, что песенное творчество в его традиционном, народном, национальном виде довольно уже давно преобразовано в другую, непохожую ступень. Это становилось заметным ещё на этапе возрастания профессиональных начал. Но суть вопроса находится, конечно, глубже. Может ли сохраниться традиционное, проявлявшееся в гуще полноценного этноса, тогда как сам этнический элемент изменился, можно сказать, принципиально? Как бы кто ни хотел продолжить развитие мелодийного стиля той же, скажем, нашей крепостной эпохи, этот стиль так и останется уже на том месте, где он больше не смог развиваться. Новые поколения образовали уклад, совершенно отличный от прежнего, тем самым создана и другая моторность общественной культуры. Если хотите, нет больше прежнего русского народа, как бы много сегодня мы ни приносили ему признательностей и возвышенных умилений. От прошлых высот пока сохраняются лишь отрывочные остатки, подобно тому как продолжают ещё жить речевые особенности и интонации в языковых диалектах отдельных провинций или их частей. Городская сфера, беспощадная к старине, полностью растворяет в себе эти выдержки. На либеральном и патриотическом флангах искусства их уже легко переводят в низменные перетолки авангардизма, а то и в насмешку. Порой не знает, что с ними делать, искусствоведческая наука, от которой ворохами сыплются увещевания приумножать всё, что она сама предложила занести в арсеналы народного и национального. Ради чего к этому надо стремиться, пока не смог объяснить никто.

Население, освоившее огромные территории, создавшее себя как нацию и установившее оцентрованную государственность, больше не есть нация в её прежнем, традиционном понимании. Это теперь народ-конгломерат, в недрах которого, что ни день, то набирает больше скорости освобождение от признаков прошлого. Можно выражать негодование тем, как песенное искусство, полнее, вероятно, всего выразившее лучшее в национальной русской культуре и духовности, гибнет под напором извращённых востребований современных стилей. Но нельзя также не отдавать отчёта в том, что немало тому способствовало и профессиональное начало, торопившееся вырваться подальше вперёд. Великолепные и, прямо скажем, очень редкие задачи для сопрано, примером которых нельзя, кажется, не считать, алябьевского «Соловья», остались образцами такого творчества, где национальное сокровенное оказалось воплощённым в наибольшей возможной для него и высоте, и красоте. Народ не стал возражать на такое искусство и полюбил его, несмотря на то, что исполнение шедевра посильно не то что не каждому, но даже не каждому профессионалу, блестяще обученному пению сопрано. В данном случае сопрано колоратурному. Время, пожалуй, оглянуться и признать, что, начиная с Глинки, создавшего первую русскую оперу («Жизнь за царя»), композиторы в большинстве не смогли развить вокал в том совершенстве, какое было продиктовано при переходе в новое время. Песни Глинки, скажем, на стихи Пушкина ввиду их малопонятной усложнённости и непродуманной голосовой тонированности ещё никто не пропел ни в дороге, ни в избе, ни на подиуме в летнем саду. То же можно заметить об его ариях и других подобных произведениях. Вне роскошных залов с идеальной акустикой, без их исполнения профессионалами они собой ничего не представляют, они – мертвы. Их нарядное и внушительное преподнесение оказывается эстетическим обманом, не согревающим сердец. Нет тут места и хоровому житейскому исполнению. Это, собственно, то, в чём уже в самом начале не мог не проявить себя самоуверенный академизм. После Глинки много арий, романсов и прочей вокальной продукции сочинили такие великие мастера как Чайковский, Рахманинов, Рубинштейн, но что спеть из их репертуара на простой сцене или в домашней обстановке, не заходя в прославленные концертные помещения, – об этом просто нечего сказать. Исправить ситуацию брались уже в недалёкие от нас времена Дунаевский, Хренников и ещё ряд сочинителей, но то просто был такой наш срок, в котором без их поддержки наша духовность могла бы истлеть до основания, до самых крайних пределов.

Заслуги этой великой советской когорты тем более значительны, что в указанном окаянном сроке почти совсем не имело возможности развиваться массовое полупрофессиональное и самобытное любительское песенное творчество, уже нуждавшееся не только в новом репертуаре, но и в соответствующих атрибутах сопровождения. Искусство низов той поры, каковое представлено, к примеру, эфирной программой «В нашу гавань заходили корабли», по-настоящему, есть искусство изгоев, насильно выброшенное из общества вместе и с самими изгоями, и с их замятой и жестоко растоптанной чувственностью.

У нас в такой связи не мог не появиться Высоцкий, и ещё надо посмотреть, как бы он нам показался без гитары. Скорее, Высоцкого просто бы не было. При полнейшем отсутствии подходящего инструментария для развития оркестрового стиля гитара именно в этот раз, что называется, отыграла свою наилучшую историческую роль как средство технического сопровождения в сольном пении. Но сольное пение в данном случае выходило уже не образцом, который легко повторить, а явлением строго уникальным. Оно вовсе и не русское, не такое, в чём могло выражаться национальное. Дело ведь тут вовсе не в том, что у Высоцкого такой-то голосовой тембр или такой-то хрип, что он весь открыт изнутри, напряжён, честен, доброкачествен в этическом измерении всего его творчества. Эти параметры нельзя рассматривать как составляющие этнического ввиду особенностей новой истории общества. Народ-конгломерат выработал в себе весь этнический самобытный потенциал, и теперь он скреплён уже совершенно иным чувственным каркасом. Нет больше любования своим происхождением, своей

удалью. В жизни от них невелика польза. Зато есть глубинное осознание каждым самого себя и всех, кто попадает в поле зрения. Кто мы все такие? Чего живём? Из-за чего порой так неуживчивы? На каких основаниях лезут к нам в души кто ни попало, а пуще всего наши малопонятные в своей бездушной логике власти?

Пример с Высоцким говорит нам о том, что песенное искусство, как наличность переменчивого социума, объединяющее в себе в том числе и бардовские пласты, в наши дни взывает к выделенности исполнения и сочинительства, к высшим строчкам оригинальности. Именно в таком приготовлении искусство может отвечать содержанию нового общества. Мы знаем, что как раз этого слишком часто не происходит.

Что за радость нам, скажем, от пения Джигурды, у которого будто скопированный хрип есть почти как храп? Или – Розенбаума, кажется, напрочь изгнавшего из песенных строк не только рифму, но и сам их смысл.

За пределами песен псевдопатриотических, услужливых, что, собственно, песнями-то и считать иногда всем стыдно, остаётся узкий репертуарный закром, где почти нет разнообразия. Любовная тема тут преобладает, и в этом ничего бы не могло быть плохого, если бы её постоянно не пачкали смакованиями эротических вывертов. В соединении с пошлым песня о любви, повторённая на тысячах арен, воспринимается отчаянным бесцельным блеянием большого стада заблудших больных овец. В этом исполнительском потоке слушатель ничему не учится, ничего не постигает, ему не в чем сопереживать содержанию. От него никто уже и не ждёт ничего. Кроме бодрого, молодецкого, шумливого одобрения. Ошеломлённый, он готов аплодировать чему угодно, соглашаться на любую незаслуженную высокую оценку действу, какую только в состоянии выдумать то или иное жюри. Та группа оценщиков, которая имеет обыкновение быть неотделимой от корпораций, устраивающих представления.

Назначение песенного искусства, конечно, всегда должно оставаться высоким и как возможность, и как цель. Какие формы здесь желательны? Не стоит, наверное, заострять внимание только на аспектах качества; тут всё заметно и очевидно. На каком-то этапе люди или перестанут слушать низкопробное, или не будут его поддерживать. Но процесс пения вряд ли кто сможет остановить или хотя бы придержать. Чем он характерен сегодня? Если он уже ни в какой плоскости не сопоставим с традиционным народным искусством пения, то всё же нельзя не отметить в нём и отдельных черт, хорошо знакомых в прошлом и выражающих социальные особенности. В первую очередь это, конечно, необычайная его готовность быть по-настоящему полезным – без дурманной оболочки.

Задушевная песня, сходная с той, которую когда-то исполняли в светлицах и на завалинках, нужна сегодня нисколько не меньше, чем когда-либо.

Речь вовсе не о том, чтобы продолжать слушать из распахнутых окон бьющие из аппаратуры барабанистые дроби, что уже отошло в историю, или – у каждого подъезда заводить по десятку вокально-инструментальных ансамблей, к чему, возможно, понадобится ещё подойти. Неостановимая разудалая технизация исполнения вкупе с пошлым содержанием способны за короткое время отбросить песенное искусство на потребительские задворки, в омуты всёопустошающего бизнеса. Но даже в этих условиях она всё же, будем надеяться, выживет и вернётся. Народ-конгломерат ни в коем случае не следовало бы воспринимать как народ-урод. Такое своеобразное реакционное понимание было бы наруку только брезгливому академизму, не способному отличить детскую соску от полновесной ложки для взрослых.

При всём том, что нам по-прежнему дороги и милы точные по назначению и скромные выпевки уже отдалившихся сотен лет, мы сегодня определённо располагаем такой мелодийной фактурой, где хоть и рядом с шелухой, но существуют-таки образцы желательные, имеющие, так сказать, перспективу. Богатой и разнообразной мелодичности русской современной песни могут позавидовать многие страны. То, что она выражена сущностью самого нынешнего соци-

ума, а не есть предмет только предположенный, условный, легко подтверждается заметными переменами в песенном искусстве многих других стран.

Возьмите японские или индонезийские песни. Многие из них весьма привлекательны для нашего слуха как раз тем, что мы больше всего любим и ценим в искусстве собственном. Ещё немало там национальной, подчёркнуто восточной интонированности, и ею же прекрасно дополняется уже основательно уложенный современный убор.

Такого сочетания нового с прежним, выходившим исключительно из этноса, вы уже не почувствуете в сегодняшней русской песне, и как раз это доставляет нам непреходящую чувственную боль. Мы ушли, возможно, дальше других, слишком торопились уйти, роняя богатство. Насколько этот момент важен, легко убедиться, слушая итальянские мелодии.

Их сразу узнаёшь, будь то оперная партия или простенький уличный напев. Как и в других странах, имеющих глубокую историю и довольно успешно развивавшихся экономически в последние полтора столетия, в Италии давно растворено в едином бывшее разрозненное узконациональное. Народ страны стал народом-конгломератом. Но в качестве главного в песенном искусстве он удерживает в себе не рыхлую глыбу наслоек вызывающего модерна, а развитую до блеска народную исполнительскую и мелодийную традицию. В рамках этой общей бесценной ипостаси одинаково удобно чувствовали себя и непревзойдённый Карузо, и шансонный Лоретто, и самый близкий к нашему времени Паваротти.

Когда мы слушаем нашего Хворостовского, то нам становятся, конечно, дороги и его бережно взрощенный голос, и выбранный им репертуар, и привлекательная харизма – как тонкой, интеллигентной личности. Но мелодика и гармония национального здесь хотя и заметны, однако уже не имеют такой броской наглядности и выразительности как в итальянском море.

Не только целые страны, а уже и континенты оказались неспособными сохранить в себе этническое. Утратить его – едва ли не худший из уделов. Не лучше удел и в том случае, когда этнического недостаточно.

Судьба устраивает так, что многим не успевшим развить национальное совсем непросто оказалось определиться и с его заменой, становившейся безотлагательной. И, поскольку нового нельзя было набрать или развить из своего, не оставалось ничего другого, кроме заимствований. Песенная культура Соединённых Штатов, воспринявшая богатейшую африканскую ритмику, – классический пример в этом сложном процессе. Во многом дело здесь ограничилось, к сожалению, только ритмикой. Выставленная в своей однобокости и в назойливом державном апломбе, она такой и остаётся уже в течение продолжительного периода.

Как бывает неприятен отдельный певец, демонстрирующий иерархичность, так же точно малопривлекательной может оказаться песенная культура спесивой страны. Устремившись в отрыв от культур других стран, она теперь предстаёт перед ними задающей моду и тон. Цена им не столь уж и велика. Исполнение песни хоть и кажется вполне свободным, однако не очевидно ли, что свобода может иногда создавать оковы сама себе. Во многих песнях североамериканского репертуара голосовые потенции устанавливаются неподъёмными даже для исполнителей высокой квалификации. Певцы в этом случае от пения переходят на крик. Слушателей раздражает сверхдинамичная сценическая разболтанность и поющих, и подыгрывающих, и статистов. Шумовое оформление преобладает над восприятием, что уже равносильно кончине песенного искусства как такового. Там – одна муляжность. Более-менее ценное, если оно иногда появляется, тут же превозносится до небес. Как раз отсюда вырастают волны той бешеной квазипопулярности так называемых звёзд, которые в условиях сопутствующего пиара в один момент накрывают собою и Соединённые Штаты, и всех за их пределами, кто не устоял перед наркотической силой бросовой моды.

За короткое время в этих мутных волнах основательно уже потрепано русское публичное пение. Преимущественно это эстрада. Всё реже её образцы дотягивают до выставляемых интернациональных высот. Не помогают ни изощрения в приёмах сценического буйства, ни

пение на чужих языках, ни услуги теперь уже всепроникающего телевидения. Если говорить только о режиссуре телепередач, призванных доносить нам «живое» пение, то она давно уже до крайности извращена в себе и в этом продолжает ускоренно катиться дальше вниз.

Транслируя концерты, телевизионщики, похоже, делают всё, чтобы мы не могли внимательно вслушаться в голоса и в слова исполняемых произведений. Самым крупным планом на экране то и дело подаются открытые рты поющих и их же напряжённые, часто почти обезображенные гримасами лица; наши взыскующие взоры, всегда готовые удивиться прекрасному, без конца отвлекают от сцены и исполнителей то в ряды партера, то на галёрку, то просто куда ни вздумают повернуть камеру операторы. Здесь пока совсем нет культуры. А уж пора бы заводить её. Опыт лежит недалеко. В той же Италии да и в ряде других стран в телетрансляциях песенного искусства из концертных залов давно устранены опустошающие операторские вольности. Даже фиксируя виды с исполнителями невысшего ранга, камера не давит вас неуместными подробностями, тем самым давая возможность лучше сосредоточить внимание на главном.

Возвращение песни в желательные рамки традиции сегодня обозначено как проблема, одинаково важная и для социума в целом, и для тех его составляющих, где этнические элементы, не получив ускоренного развития на предыдущих этапах, намерены выражаться в том лучшем, что сосредоточено в их или близкой к ним культуре. Вполне очевидно: заимствования были бы весьма полезны для всех направлений. Конечно, не любые. Русская песенная традиция, которую часто оставляли без поддержки наши классики-профессионалы и наш музыкальный академизм, не могла примириться с потерей самой себя. Ещё до пушкинской эпохи, наряду с разработкой импровизаций, вызревало в ней глубоко лирическое и в то же время какое-то взрывное, пламенное содержание. Нельзя, наверное, оспорить того, что здесь давал себя знать цыганский пласт.

Цыганская песня в принципе однообразна в своём потрясающем исполнении, где почти не обходится без вихревого танца и пышного струнного аккомпанемента. Тут если и есть развитие, то исключительно в пределах самого пения, но само исполнительское искусство никуда не движется. Оно замерло на своём пике, предпочитая там и оставаться. Разрешение в высшей степени мудрое.

Слова цыганской песни всегда предельно просты, и в них тоже нет движения. Цыган сидит в тюрьме, и к нему долго никто не приходит. Потом к нему всё же пришли и сказали, что жена изменила ему. Или: Гуля в лесу собирала бруснику. Подошёл к ней цыган Смоляко и говорит: «Я приду сватать тебя. Пойдёшь ли ты за меня замуж?». Сюжеты – вечные, и петь их будут ещё, наверное, века. Это та статика, которою цементируется этническое. Где-то у другого народа столь скудный багаж давно бы отбросили прочь и забыли. Но раз к нему есть непревзойдённые мелодии, он совершенно и к месту, и ко времени.

Цыганские интонации, включённые в русскую низовую песню, в ряде случаев сообщили ей столько взволнованности и блеска, что она обрела все признаки шедевра. Лучшее в этой копилке представлено русским романсом. Вертинский был одним из тех исполнителей, у которых позаимствованное уже воспринималось как самое настоящее русское. Настойчиво превращаемое в шансон, оно почти не имело творческого продолжения, и можно только посожалеть, что, постоянно возвращаясь к нему, тоскуя по нём, нынешние концертные администраторы то и дело ставят рядом с романсовыми шедеврами песни в данный момент самые обычные – песни народа-конгломерата, преподнося их тоже в виде романсов. Конечно, это глубоко ошибочно. Отсутствие в них нужных созвучий легко обнаружит любой поклонник старинного русского романса.

Чем особенно ценен этот превосходный жанр, так это тем, что он остаётся любим не только для слушателя, но и с удовольствием исполняется. И не только на тесных концертных площадках, а и в обычной, каждодневной обстановке, в дороге, в местах отдыха. Романс –

желанный соучастник в любой компании, от молодёжной до дедовской. Не так уж редко чарующие мелодии воспроизводятся любителями наедине, открываясь им поистине бездонной глубиной нюансировки. Не зря ведь говорится, что в этом случае поёт сама душа, и она становится неотделимой от музыки.

Хотя к инструментальным средствам сопровождения свободного пения добавляются, кроме традиционной гитары, скрипка, рояль или даже баян, именно гитаре, с её родовым полифоничным звучанием отведена преобладающая, особая роль. Скрипка и рояль слишком строги, амбициозны, в амплитуде их звучаний не так просто уложиться раскованной тихой чувственности. Гитара подходит более всего. Мне кажется, было бы ещё лучше, если использовать гитару не шести-, а семиструнную.

Чем-то более широким, более роскошным, сразу наполняющим душу до краёв, запоминается исполнение вариаций уже упомянутых выше Сихры и Высотского. Шестиструнная както максимально точна, всё в ней устремлено в изящество, она будто уверена, что верховенство всегда принадлежало и принадлежит ей, не кому иному. Её сопернице изображать своё величие незачем. Из-за своей скромности она, видимо, и поплатилась, уйдя в тень. Но ведь как раз ей, почти совершенно отвергнутой профессиональной фалангой, принадлежит наибольшая заслуга в увековечении лучшего в русской песне – как этнической ценности. И сама-то она является изобретением чисто русским, в то время как шестиструнная завезена. Впрочем, больно сейчас за обеих. Без национального своя остаётся не у дел, а завезённой приходится, ломая гордую осанку, подыгрывать народу-конгломерату.

Об этом легко вспоминается, когда чуть ли не с первой ноты шестиструнная классическая увлекает вас в родную для неё национальную историю раздумчивой больной тревоги, крайнего страдания и до поры невыраженного ясного мужества в цепях мавританской неволи, чем пронизано, к примеру, «Испанское болеро» Чиары.

Потерявшее национальные признаки русское песенное искусство успело, чего трудно не признавать, основательно повариться и в подработках, где ещё могли достойно выглядеть рудименты прошлой самобытности, и в заимствованиях. Поэтому вовсе не бесспорны утверждения, будто, выйдя из крепостничества, наш народ уже отпел, отстонал по полной то, что в нём копилось. Вспомните, как, обращаясь к нему, болезно сокрушался Некрасов:

…всё что мог ты уже совершил,
создал песню подобную стону
и духовно навеки почил.

Батенька поэт, народный заступник, ситуацию слишком, кажется, отполитизировал. Да, потеря имела место, но и приобретений на новых путях набиралось немало. Другое дело, что их жизнестойкости не хватало на продолжительный срок. Сообща или сменяя друг друга, они уходили. В контексте этого, наверное, не лишним было бы отметить, что выраставшее после крепостной эпохи в своё время довольно успешно рядилось в патриотствующую народность, наподобие распевок «от» Бедного. Не он, конечно, был тут первым, а характерной стороной данной мистификации явилось исполнение песен под гармонь.

У этого инструмента довольно скудное звучание, и рассчитывать на решение каких-то сложных задач с его использованием, конечно же, не приходилось. Пели под гармонь ещё с конца позапрошлого века, в революционные и военные годы, на гулаговских подиумах, немало поют всюду и до сих пор. А искусства, которое бы оставило след или имело тенденцию, изо всех стараний так и не вышло. Гармонь остаётся предметом чисто любительским, вещью для забавы и дешёвого тальянного удальства. Ею не так уж редко сопровождались пьяные гульбища. Прискорбно, что под стать инструменту выстроена и текстовая фактура. Стиль исполнения под

гармонь на удивление дружно поддерживался всяческими властями, он поддерживается и властью нынешней. Здесь на поверку губительное недопонимание – ни народа, ни его искусства. Покровительство уравнено с агитационным заигрыванием – как своеобразным подкупом.

Вмешательство власти, часто не открытое, а как бы переложенное на плечи академизма, вызывает скепсис не потому, что при этом поддерживается не самое лучшее и более достойное; замысел сохранения традиции сам по себе благороден; однако он слишком накладывается на пожелание общей долговременной стабильности в государстве, при которой уконсервированной оказывается и вся общественная жизнь.

Искусство, если оно подлинное и тяготеет к высшим значениям свободы, этого не приемлет, из-за чего занимает нишу вне интересов политики и политической воли. В свою очередь, у любой власти в отношении к искусству неизбежна раздвоенность. Мало кому она понятна. С одной стороны, необходимо соблюдать гарантированную свободу творчества, с другой, – нельзя допустить, чтобы беспредельной свободой была опрокинута вся культура, а с нею и государственность.

Если тут не усвоены акценты, то выбирается решение, близкое к примитиву: культуру берут и подминают под стратегию власти.

В этом случае многое предстаёт необдуманным, неубедительным, случайным. Как относиться к беспределу пошлого или даже развратного на эстраде, на телевидении, на театральной сцене, в словесности, в живописи? Администраторы, заботясь о стабилизации, не находят ничего лучшего как прикрыться злобными установлениями рынка и попросту от беспредела отойти. В то же время стабилизацию, как и всякое достижение, они используют в целях собственного возвеличивания. Загребать здесь жар удобно, привлекая культуру в тех её видах, какие могут в наибольшей степени содействовать прославлению – и остойчивости государства, и собственно администрации. Потому-то власть и любит изображать себя покладистой и щедрой, одаривая любовью и деньгами в первую очередь тех, кто, не будучи гением, известен хотя бы чем или всего-навсего модничает. В условиях тотальной пиарности перед модным распахиваются все двери.

Как результат, культуру приносят в жертву славе, – последняя, разумеется, не для неё самой, и это давно уже стало общим местом. Если говорить о песне, то здесь разве не наблюдается то же самое?

То, что поётся в самодеятельности, легко выдать за народное, за то, что надо беречь, развивать и приумножать.

В этот стандарт, если он задан властью, горазды воткнуться очень многие. Тем самым создаётся видимость массовки. Лихое растягивание мехов гармони тут вовсе не самое низкопробное. Даже наоборот, оно не может не вызывать уважения, поскольку исходит от низов, зачастую сильно униженных. Не счесть уже низкопробного самого настоящего.

Именно поэтому нельзя ограничиваться только примерами, забывая о сути, о принципах, о задачах отбора.

Можно считать, что государственная власть никак не рассматривает ставший очевидным факт перерождения песенной народной традиции в искусство общности-конгломерата. Она здесь ничего не видит, не знает, что это такое. Русское безымянное песенное творчество прошлых веков – безусловная непреходящая ценность. Развивать её оказалось некуда. Навязчиво культивировать – также ни к чему, так как на смену пришло новое и будто бы не всегда и не совсем плохое. Как с предыдущим богатством быть? Да так же, как и с новым, от которого можно легко отстраниться. На аукцион ведь его не выставишь.

Вопрос не выдвигался бы так настойчиво, если бы нынешний век не преподнёс миру мощной головной боли с этническим элементом.

Национальная культурная автономия, а вслед за нею и национальная автономная государственность, призванные гармонизировать всю совокупную общественную жизнь этнофор-

маций и этнообразований, оказались превосходными средствами для взращивания так называемого национального самосознания. Но эта изначально желанная штука на изумление всем нигде и ни в какую не хочет оставаться неким отвлечённым, парадным обозначением. Хотели, чтобы она росла, и она хочет того же. Стабильность под её воздействием буквально взламывается, трещит по швам. Штука норовит выделиться, обрести независимость. Понятно, её приходится укорачивать, удерживать в себе. Для этого придумано немало приёмов, в большинстве скрытных, завешенных демагогией. Для властей тут по сути и нет выбора, и они отчаянно противодействуют росту самосознания или, по меньшей мере, ничего туда не добавляют.

Вместе со всей культурой последствий этой странной игры не может не испытывать песенное творчество этносов или то, что иногда называется народной, национальной песней, фольклорной национальной песенной россыпью или как-нибудь ещё из того же выспреннего ряда. Что здесь любопытного? Песенное богатство подразумевают не остановленным во времени и в объёмах, какие отлиты по ходу истории, не потерявшим надежд выйти из национального кокона ввиду отсутствия у этноса полной государственной независимости и соответствующей этому истории, а – вполне исправным, живущим, набирающим силу и т. д., – будто бы совершенно просто оно в состоянии играть такую же точно роль как искусство народа-конгломерата. Организованный мираж подкрепляется шумной бодрецкой болтовнёй о сохранении народной традиции.

Для исполнения наследия образуются внушительные певческие батальоны; каждый из них, соревнуясь на уровне провинций, регионов, анклавов и даже стран и мира, натаскивает в пределы своей автономии всевозможные знаки признаний и славы. Общий замысел развития этим как бы пришпоривается.

Вместе с певцами выражают готовность отдать себя служению народному искусству композиторы. Возникают их объединения, расцветает методистика, на уровне государственности формируются научно-исследовательские центры, фонды поддержки, образовательные кафедры, правительственные комиссии, другими словами, – весь хорошо уже всем знакомый арсенал бесцельной, дорогостоящей, громоздкой чиновничьей опеки.

Если эту опеку снять, то, конечно, этническое останется; но, предоставленное самому себе и повинуясь позывам к лучшей собственной доле, оно будет вынуждено как можно теснее вплетаться в ткань современности. Обережённое своей энергией, то есть как явление отнародное и притом отнюдь не самого низшего качественного класса, оно в состоянии долго оставаться самим собой и даже быть востребованным современностью только при условии, что его качество станет динамично возрастать до пиковой черты. Спланировать этот путь не смогли бы никакой академизм, никакая власть. Стоит также учитывать скепсис, который неизбежен по отношению к искусству, если оно не на пиковой высоте. И, скорее всего, развитие в этом случае может иметь место лишь со знаком «минус».

Должно происходить примерно то же, что под влиянием действующей культуры народа-конгломерата не так уж редко испытывает оказавшийся в нём этнос.

Не развившись до уровня, где он мог бы конкурировать со «старшим братом», он обречён быть поглощённым, ассимилироваться. В каком виде возможна ассимиляция в пределах искусства и, в частности, искусства песенного, вам не скажет ни один мудрец.

Нам, современникам, при всех подобных отчаянных прогнозах, всё же нельзя не считаться с реальностью.

Централизованные государственные интересы требуют не упускать из поля зрения и сами этносы, сколько бы их ни оказывалось в границах отдельных стран, и всего, что выражается в их культурах. Но достаточным ли бывает осознание того раздела, который спонтанно образуется при взаимодействиях разных культур, по-разному соответствующих новым востребованиям?

Насколько можно считать значительным востребование этнического песенного искусства, фундамент которого, как правило, неотделим от оставшейся далеко в прошлом бытовой ритуальности, обрядовости?

Как тут ни разводить руками, а стыковаться с живым современным процессом ему нелегко и очень часто – просто не под силу. Уступать дорогу побуждают его как распухшая судорожная масса эстрадных звучаний, так и по-настоящему профессиональный песенный конгломератный репертуар. Достаточного эффекта при соревновании с ними или, как ещё говорят, – сосуществовании, получить не удаётся даже с переводом исполнения этнической песни в степень профессионального.

На примерах русского национального песенного творчества мы видели, как с его подчинением академизму оно почти сразу и почти совсем теряло себя как народная, самобытная традиция. И разве не о таком же убывании этнического говорит нам тот факт, что как предназначенное к исполнению порой исключительно в бытовой сфере, то есть – как непрофессиональное, оно уже и вообще утрачивает способность к выраженности вне профессиональной площадки? Судьба у него схожа с тем, что нам приходится наблюдать и в отношении эстрады, и песен общегосударственного культурного уровня. Здесь будут уже уместны сожаления по поводу судьбы песенного искусства, так сказать, в целом.

Не слышно на палубе песен… —

эти слова точно соответствовали непоправимой общей опустошённости и гордой мужской печали в нотном сочинении «После битвы», родственном по звучанию песне «Раскинулось море широко». Нам ещё памятна выраженность народного искусства, когда, не претендуя ни на что, песни в непрофессиональном исполнении, часто без инструментовки, звучали в поездах, на улицах, на росстанях, на сходках. С годами всё реже они слышались и уже совсем переставали слышаться на природе, где-нибудь у костра, на дачах, где-то по случаю. Последним пристанищем были жилые этажные дома, избы, квартиры, но теперь не слышно их уже и оттуда. Их заменила бурлящая, причёсанная академизмом или режиссурой, неостановимая и непрерывная акустико-металлизованная репродукция песни. Её навязывают нам уже не только эстрадные корпорации.

Свою лепту здесь горазда вносить даже церковь: её тяжёлые песенные каноны зазвучали из наружных уличных усилителей как бы взамен истощённого и опустошённого комсомольского репертуара. Кроме добавки к уличному городскому шуму, это ничего не даёт.

Непроизвольное, раскованное исполнение, в котором люди издавна испытывали непреходящую потребность выразить себя, свою глубинную сущность, эмоции, чувственность – всё это теперь оказалось опрокинутым, выброшенным из обихода. Его уже передёргивают, над ним с издёвкой посмеиваются. Так приходят новые эпохи, и этого, кажется, ничем невозможно предотвратить.

Будто стоном прорвётся иногда вне беснующихся сцен и динамиков подлинная прежняя самобытная или даже романсовая выпевка, но часто уже и не в полный голос и не полностью, а только скромным, почти как стыдливым отрывком, проискрится волнительными грустными блёстками по лицам исполнителей, слушающих самих себя, и – вновь отправляется в своё беззвучное небытие. Вполне возможно, что – навсегда, насовсем. Тешим себя надеждой, что такого не будет, не должно произойти. Но душу-то не закроешь. Уже, бывает, только в ней, а не на былом просторе тихим нутряным плачем прольётся самая близкая и, может быть, самая бесхитростная мелодия. Обычно это – песня матери. Она всегда – как бесценное сокровище. Вот один куплет:

І шумить, і гуде;
дрібный дощик іде.
А хто ж мене, молоденьку,
тай до дому проведе?

Моя мама напевала этот фрагмент сама себе, когда ей было особенно тяжело и ей, из-за того, требовалось обязательно распеться также и в других лирических мелодиях. Что тут могло быть ещё особеннее, когда трое детей у неё умерли от голода, когда её муж, мой отец, погиб на войне, и ей оставалось только с утра до ночи бесплатно работать на колхозной мужской работе, не вылезая из нищеты?

Особенной была, конечно, сама песня, исторгавшаяся непереломленной оскорбелой душой. Сколько там теплоты, безыскусности, ласки, ожидания, жизни, воспоминания, будничной красоты! Может ли быть что-нибудь лучше, трогательнее, дороже в бескрайнем и уже будто опустыренном песенном море?

II

Средний возраст – непростое дело для человека.

Земную жизнь пройдя до половины,
я очутился в сумрачном лесу,
утратив правый путь… —

жаловался Алигьери. Чтобы не потерять себя в изгнании, он, как известно, оттуда как бы сбежал и не куда-нибудь, а на тот свет, рассказав о нём немало интересного, чем и прославился. Для Пушкина разлом его жизненного пути надвое был настолько болезненным, что в этом месте всё для него и закончилось.

Я перебирал в памяти эти и подобные им любопытные примеры из прошлого и находил, что они почти впрямую касаются и меня. Мой серединный рубеж тоже был совсем рядом. Судьбой не дано было выделиться мне в каком-нибудь геройстве или в эффектном падении. Страна, никуда не двигаясь, меня постоянно куда-то звала и понуждала двигаться, мешая собираться в своих, личных решениях. И, поскольку ценного результата здесь не могло быть, заменой служила оскорбляющая сплошная мучительная усталость. Я устал настолько, что, казалось, чуть ли не с каждой минутой куда-то падаю, проваливаюсь, и нет желания этому воспротивиться.

Вдоль насыпи железной дороги тянулись возвышения и распадки, поросшие густым лесом и уже тронутые ярким багрянцем осени. Поезд часто сбавлял ход или, наоборот, устремлялся в разбег, преодолевая один за другим вершинные участки на перевалах. В окно врывалась тугая масса лёгкого, чистого, промытого недавним дождём и хорошо угретого солнцем воздуха. Ехавшие пассажиры восхищённо осматривали роскошные, искрящиеся ландшафты, дружно и весело переговаривались. Их лица выражали восторг и удовольствие. Где-то в дальнем купе слышна была песня, хотя и с заметной текстовой фальшью, но почитаемая многими. А меня давившая тяжесть не отпускала и будто пригибала всё ниже. В таком состоянии добрался я наконец до посёлка, в который ехал с надеждой как-то, может быть, освободиться от накопившейся хандры.

План был простой: пожить у кого-нибудь на деревенский манер, отрешиться ото всего, что имело место в городской суете и в услужении государству рабов.

Посёлок был растянут вдоль станционных путей, и там, где переулки уходили вбок на каких-нибудь один-полтора километра от железной дороги, уже начинался так называемый хозяйственный лес. Его местами вырубали; он вырастал снова. Тут же были скотные выгоны и покосы. Этими зонами посёлок отделялся от леса уже коренного, куда вели узкие ухабистые, никогда полностью не просыхавшие и местами почти сплошь затянутые моложавым подлеском проезды, служившие для доставки хлыстов. Города, до которых в обоих направлениях тянулась железнодорожная магистраль, отстояли отсюда одинаково далеко. Станция была маленькая, её даже часто называли полустанком, соседних с нею, таких же, набиралось немного. Народ сюда жить не ехал, а молодёжь предпочитала здесь не задерживаться. Но в то время в таких местах уже начиналась возня с приобретением построек и участков под дачи.

Один мой знакомый, узнав, что я собираюсь в эту полудикую глухомань, уговорил меня разузнать, не мог ли бы он завести там свой островок покоя. Так что цель поездки состояла ещё и в этом.

Было время полдника. Проходя одним из переулков, я увидел старика, копавшего картошку на своём огороде. Мы быстро договорились. В качестве жилья он предложил мне в избе крохотную каморку без окон и без электричества, с выходом в сени. В каморке стоял топчан. С избой соседствовал сарай, где не было ни скота, ни мелкой живности. Чердак сарая прикрывался тесовой крышей и только одним фронтоном. Ни для чего, а как бы в память о былых обитателях подворья дед набросал наверх сена, припасённого в текущем сезоне, и теперь чердак, широко открытый настежь одной из своих сторон, годился на роль спальни даже лучше каморки.

Я сразу вызвался помочь старику. Мы вскопали всю картофельную делянку, перенесли клубни под навес, в избу из колодца я наносил с десяток вёдер воды, поколол чурбаков.

Моя прыть понравилась и хозяину, и его бабке. Был первый срок их совместной жизни после того как оба овдовели года, кажется, полтора назад. Бабка светилась, дед важничал. Не находя сил одной управляться с хозяйством, остававшимся при её избе по смерти мужа, она, как и её теперешний избранник, уже успела освободиться от скотины, правда, удержав-таки поросёнка. Разумеется, оба не прогнали собак. Дедов пёс был сущий лодырь, лаять совсем не старался, но был охочь до еды и до людской ласки. Новая хозяйка угождала ему изо всех сил.

Она согласилась помочь мне с парным молоком и с куриными яйцами, чего хватало у соседей, и, улучив момент, привела женщину, готовую каждый день трижды предоставлять эти продукты. Стояла пора здешнего бабьего лета. Я замыслил поспать непременно на сеновале. А перед тем, как подняться туда по лестнице, уже в этот же вечер испил первую большую кружку парного молока, в котором размешал пару сырых яиц. Коктейлю отводилась универсальная роль – и как полноценной негородской диете, и как превосходному лекарству, в том числе умиротворявшему дух, что для меня представлялось не менее важным. Со сном я, конечно, не торопился. Я смотрел с высоты чердака в тёплое звёздное осеннее небо, на углаженные сумерками отдалённые безбрежные переливы холмов и урочищ и начинал чувствовать, как меня обволакивает удовольствие быть сейчас именно в этом месте. Как будто я нахожусь тут постоянно, с какой-то давней поры. Кругом столько знакомого: звучные, открытые разговоры соседей, настойчивые редкие мычания потерявших дворы телят, беспричинные похрюкивания свиней, дружные мирные выплески собачьего лая, запахи навоза, ещё не вконец иссохшей травы, первых прелых листьев, хвои.

От станции и от расходившихся в стороны путей слышались то короткие, то протяжные гудки локомотивов; медленно росло, а потом так же медленно замирало эхо, объединявшее все до единого перестуки колёсных пар проезжавших поездов, – тяжёлые, с гулким присадом – грузовых, частые, клацающие – пассажирских. Тяготы, которые я привёз с собой, начинали сползать с меня. Больше того: мне уже верилось, что это не всё, должно произойти что-то, возможно, необычное и неожиданное. И как раз тут я услышал пение. Одинокий голос новой

хозяйки легко и просто выходил на распев, забирая с собою мягкую тишину подступавшей поселковой ночи.

Я на той тропинке ещё не нагулялась,
а любовь для нас уже тогда старалась.

Такой песни и таких слов я никогда не слышал. Женщина дала ей совершенно непринуждённую яркую прорисовку уже буквально в этих первых двух строчках, одновременно обозначая расстановку дуэта. Дед не замедлил с поддержкой. Я удивился его несильному, но сочному баритону, какие у мужчин бывают, как правило, только в молодой поре.

Концерт не прерывался с добрый час. Репертуар меня поразил. В нём почти не было песен знакомых, затёртых непрофессиональным исполнением. И в то же время дуэт совсем не походил на такой, где бы видна была хоть какая профессиональная выучка. Свет в избе вскоре погас. «Вот дела!» – только и оставалось мне сказать самому себе, когда я поудобнее устраивал пахучее сенное подголовье.

Хотя проснулся я рано, старики были уже на ногах. Местное коровье стадо ещё только уходило на выгоны, обдавая посёлок цепочками цимбально-серебристых капель нашейных колокольчиков. Дед подлаживал дверь оскучавшего по живности сарая, что обозначало подготовку этой базовой части хозяйства к заселению, возможно, очень скорому. Бабка выдавала своё присутствие в доме лёгким посудным звоном и хлопаньем сенных дверей. Я пошёл прогуляться. В каких-то ста метрах отсюда, за крайними домами лежало небольшое озерцо с примыкавшими к нему полянами и разбросанными по ним старыми берёзами.

Распущенные пышные космы ветвей непринуждённо провисали высоко над землёй, и настолько же они не доставали её снизу, отражаясь в воде. Взор оглядывал всю прозрачную глубину озерца, полянное пространство далеко вперёд и по сторонам. Было совершенно безветренно; солнце только начинало подниматься; на все лады пели и щебетали птицы, часть которых уже запаздывала с перелётом. Заданная в ночь прохлада бодрила, так что сразу возникла мысль о том, чем конкретно я займусь в этот первый полный после приезда день. Ответ пришёл почти сразу. Чуть поодаль промеж берёз я заметил две фигурки старушек с кузовками. «Да тут ведь и грибы!» – попенял я себе за крайнюю непродуманность моего начавшегося пребывания в посёлке.

Вернувшись, я сообщил бабке, что готов хоть сейчас пойти в лес. «И я тоже собираюсь, – сказала она, – но позже, не торопись, покажу тебе, где лучше искать».

Пока надо было ждать, я расспрашивал деда, как это они с бабкой могут так красиво и слаженно петь. «Да у нас тут все так поют». «Это – как?» «Ну, поют и всё. Петь ведь лучше, когда поётся», – дед хитро улыбнулся. Он, видимо, был доволен, что остался нераскрытым и тем вроде как меня озадачил. «А как понимать – «лучше»?» – попробовал я нащупать искомое. «Ну, вот взять тебя: ты приехал, тебе привольно, легко, хорошо – так? В самый раз – петь». «Я не очень-то мастак, да и что же – прямо с утра?». «Хочешь, так и с утра, не возбраняется. Главное, чтоб пелось». «Вижу, вы меня разыгрываете. Но я в самом деле хотел бы знать, как это у вас поют все и что значит «когда лучше». «Что об этом говорить? Приличнее слышать. Время у тебя есть, послушаешь, тогда и спрашивать будет, может быть, нечего».

Своими ответами дед, что называется, обложил меня вкруговую: никакой ясности, куда бы ни сунуться. Хотя упрекать его было, разумеется, не в чем. Я решил, что, наверное, тороплюсь, так не стоит. И песняры, и посёлок – они тут, никуда не денутся, что-нибудь узнается обязательно.

Бабка, напомнив мне о коктейле, ушла проведать собственную избу. Дедова при свете дня смотрелась отменно уютной и чистой. Простенка здесь не было. Справа, недалеко от порога, высилась печь с плитой, и сразу дальше начиналась жилая площадь. Тут под прямым углом

одна к другой стояли две панцирные кровати, каждая с высокой пуховой постелью и с горками мощных подушек, круглый стол под свежей скатертью, табуретки, лавки. Стены обвешаны семейными фото в рамках, где, кроме старика и его прежней супруги, я насчитал их пятерых детей, бывших детьми, вероятно, уже лет до сорока назад. Поскольку изба не была ветхой, то отсюда следовало, что семейство раньше проживало не здесь. Современную атрибутику представляли стандартный радиорепродуктор, как раз пиливший какую-то государственную музыку, и электрическая лампочка, укрытая абажуром домашней выделки.

Я разглядывал обстановку довольно долго и уже начинал скучать, когда вернулась бабка. Мы отправились, держа в руках плетёные лозовые корзинки. «Нынче на грибы урожай, – вводила меня попутчица в курс дела. – Тут вот рядом – не наши. Мы сходим за белыми».

Место сначала шло ровное, полянное; скоро оно сменилось густеющим лесом, уходившим на возвышение и перемежавшимся балками. Мы разошлись по сторонам. Где-то близко бродили коровы; уже знакомые колокольчики вытенькивали мелодию их присутствия, что имеет особый смысл, когда скотины не видно за деревьями.

Я подрезал плотные, свежие, смуглистые сверху башенки, с упоением вдыхал их зовущий аромат, азартно выискивал следующую грибную стайку, и вдруг мне как будто послышалось пение. Остановился. Бабкин голос. Тихий, лёгкий, тёплый, про себя. Он как бы возникал в себе и будто не только звучал сам, но ещё и вбирал в себя разбросанные по зарослям искристые перезвоны колокольчиков. Песня ещё не исполнялась, а только готовилась к исполнению, будучи неоформленной до конца ни в мелодии, ни в словах.

Бабуля сочиняла, импровизировала!

Я не вправе был мешать этому потрясающему запредельному таинству и замер, стараясь оставаться незамеченным.

Тогда моё крыльцо уж зореньку приветило.
Тебя война гнала. На станцию пора!
Я буду ждать. Я так тебе ответила, —
пройдёт пускай хоть век, но – от того утра.

Слова и звуки постоянно меняли семантику, то и дело отталкивались друг от друга или сближались; не был застылым и их нотный окрас. Появившись пока ещё только в своей части, песня уже нуждалась в собственной судьбе, настойчиво требовала своего завершения.

«Ой, напугал», – встрепенулась авторша, когда я, стараясь подойти поближе, неосторожно прохрустел сломанной под ногою веткой. Я извинился, сказал, что отойду, мешать не буду. «Чего там, – немедля замирилась женщина. – Вон сколько собрано. Чуток, и довольно. Обед уж проходит». – «А как же?..» – «Да, небось, будет ещё время, докончу. Иной раз вот так же начинаешь, перебьёт что-нибудь, да ничего, то, что хорошее, после уже выходит и быстрей, и, бывает, даже лучше». Бабка явно шла на опережение. Моя смущённость была ей неинтересна.

Грибы в этот день хоть и заслуживали восторгов, что при сборе, что уже как приготовленные, пахнущие далеко от избы, но связанное с ними радостное предприятие, даже взятое во всех возвышенных эпизодах, должно было отступить по своей значимости перед волшебством нарождения песни. Был ли этот процесс для меня совершенно незнакомым? Что-то я, кажется, слышал о гениях, что они настолько уходили в лабиринты своего вдохновения, что уж как будто теряли себя, удивляя этими странностями окружающих. Странности удивляли и самих гениев и даже иногда в тех случаях, когда выходы из «обычного» были незначительными и никем пока не замечались. Тот же, к примеру, Пушкин становился с годами настолько слитным со своим творчеством, что однажды откровенно поведал об этом своей жёнке, дескать, ничего с

собою не могу поделать, впечатления сразу лепятся в строчки, потерять их жаль, потому берусь писать где только придётся: на раутах, при езде в дилижансе, даже при ссорах с кем-нибудь…

Что из этого следовало? Да, пожалуй, ничего особенного. Ну, там гении, народ извечно странный, чудной. А бабка тут при чём? У неё чего странного? Сочиняет, старается, не спешит, песня, наверное, получится и даже – превосходная, никакой зауми. И всё же…

Я ломал голову весь остаток дня, вечером, когда, испросив разрешения, слушал очередную оригинальную распевку своих стариков уже в избе, чьё-то пение в избе неподалёку отсюда уже под самую ночь; по-настоящему не спал я и ещё позже, ночью, будто замороченный мотаясь по сену на чердаке сарая. В какой-то момент крепко, но ненадолго задремал. Проснулся опять же в связи с предыдущим. Мне виделся сон: я; мне около одиннадцати, и, как и теперешняя здешняя бабка, я сочиняю новую песню. И музыка, и слова укладываются в одном ложе просто, легко, послушно. Я радуюсь, и оттого, что всё идёт как надо, берусь песню подправлять, это опять-таки удаётся легко и просто, удаётся множество раз, отчего песня и в мелодии, и в словах становится всё лучше. Моя мама, очень любившая петь наедине лирические народные, не раз говорила мне, что замечает, как я тоже люблю пение, но сам петь вряд ли стану, а вот слушать буду всегда с удовольствием и внимательно, и это тоже нужно и очень хорошо. Ну так вот сейчас я уже мог больше этого – и петь, и даже сочинять. Я тороплюсь поделиться этим с мамой, ищу её, а найти не могу ни дома, ни за домом, ни в огороде, ни в саду, ни где-нибудь на улице. Я выхожу в широкое поле, надеясь, что, наверное, найду её там. Но – нет, всё напрасно. Нет её нигде. Я спешу, мне кажется, что пока она отыщется, я забуду то, что уже у меня отстроилось и отшлифовалось. Меня одолевает тревога и почти боль: я теряю, и, похоже, теряю уже всё и уже совсем. И всё, на самом деле, забывается разом…

Откуда эти невероятные ассоциации? С какой это стати я и композитор, и поэт, в их, так сказать, полном развитии да ещё и в каких-то неполных одиннадцать лет? Впору было, как мальчишке, ущипнуть себя, как это мне, как и другим сверстникам, приходилось иногда делать в детстве, когда требовалось в чём-то остановиться нехорошем, на что нехорошо смотрели взрослые. И я и в самом деле себя ущипнул где-то вбок. Сразу на душе стало тише, ровнее. Но вдруг я отчётливо и как-то по-особенному трепетно осознал, что всё приснившееся – неспроста. Было такое! В другом, совершенно примитивном виде. Но – было! Да, да, как же оно не вспомнилось!

Я тогда и в самом деле находился в том, несерьёзном возрасте. Я любил общение, но ещё больше – оставаться наедине, чтобы размышлять. Когда никого не было рядом и слишком близко, чтобы меня слышали, я вслух упражнялся в декламации стихов или каких-то интересных отрывков прозы. А однажды попробовал сделать их напевными. Получалось нечто сыренькое, не совсем складное, не доведённое хотя бы до десятой части того, что было нужно. Естественно, нельзя было не обрадоваться даже этому. Я продолжил попытки. Что-то к этому неудержимо влекло. Я углубился в стихи, которые, как мне казалось, могли служить основой песен. На ходу пробовал сочинять мелодии. Как любой творец-отшельник, я не допускал мысли, что меня кто-то услышит и, возможно, высмеет, опозорит. Чтобы этого избежать, я переносил занятия как можно дальше от мест, где могли быть люди. Выбирал заброшенные участки с развалинами былых изб, одичавшие сады, дальние заогородные пустыри, заросли кустарника и чёрного дуба, куда в жаркие дни при выпасе я загонял нашу бурёнку, помогая ей хоть на время оторваться от наседавших на неё слепней. Никем не замечаемый, в тишине или еще лучше – при ветре, в этих местах я мог декламировать или пробовать петь как угодно шумно. Иногда я, кажется, просто орал, при этом возбуждаясь на ещё более шумные выпевки и декламации.

Ни на какой ощутимый эффект я не рассчитывал. И, собственно, даже не понимал, для чего мне всё это. Просто нравилось такое вот свободное, ничем не ограниченное помещение

себя в стихию своей растущей одухотворённости; я как бы плыл или даже летал в этой стихии, легко раздвигая то, что находилось передо мной.

Позывы к песне в самом себе буквально выпирали из меня; в них, несовершенных, никуда не направленных, являлось для меня настоящее очарование только что усвоенных важных примет однообразного окружающего, какое-то зримое счастье. В нашем селе тогда ещё не было ни электричества, ни радио, не более раза в год в клубе-халупе вручную крутили какой-нибудь фильм-агитку, в библиотеке при школе, единственной на всё село, книг насчитывалось не более полусотни. Песня, и в хоровом, и в сольном исполнении, оставалась тем совместным богатством местной общины, которого было вволю и куда без каких-либо затрат можно было даже добавлять. В селе ещё только заводили самодеятельность, ей в подчинение пока ничто не шло, и песня в любых её видах была для каждого совершенно доступной и универсально свободной. Может быть, именно в этом своём бесценном качестве она могла сильно увлекать любого, не исключая меня…

Моё прошлое, то, что выходило из природы песни, ещё не скованной узами безмысленной формалистики, служило мне теперь хорошей опорой в усвоении уроков, которые я получал, что называется, и днём, и ночью. Ясно, что в посёлке поддерживалось такое отношение к песне, которое позволяло ей быть истинно самобытной. То есть – не замиравшей в её собственной форме, легко подверженной изменениям и достойно уступавшей тому, что просилось на замену.

Уже в ту пору это был тот редкий, почти невозможный случай, когда самобытное проявлялось в его высшем и лучшем виде. Оно выстояло в конкуренции не иначе как за счёт сочинительства, развития и дополнения. Но, разумеется, чтобы это произошло, нужны были ещё и соответствующие особые условия. Продолжая задавать вопросы о здешних песенных делах деду, а затем и бабке и другим посельчанам, я приходил к выводу, что без этого самобытное просто бы не состоялось.

Маленькая станция хоть и была оторвана от мира, но, как составная часть железной дороги, имела и неплохие к нему выходы. Телеграф и телефон, принадлежавшие ведомству, приносили сюда информацию не только ведомственную. Всё, что нельзя было скрыть никакой секретностью, жители посёлка узнавали в один день или даже в один час с остальной страной. Новости сторонние оказывались неотделимы от своих. Люди пожилые, из которых в другое время составилось большинство здешнего населения, в минувшую войну, до и уже после неё сполна выбрали из общей советской доли. Бабка могла сочинять мелодии и слова к ним, кажется, на все возможные движения горемычной отечественной эпохи.

Затемнела ноченька;
далеко рассвет.
На своей дороге
мне дороги нет.
Прошептал конвойный:
«Не смолчишь – убьют!»
От насыпи на сторону
покойничка несут.
Миленький, родименький,
то – мальчонка был.
В стороне от насыпи
ветер – бесом выл.

Песня прямо-таки разрывает душу. Бабка поёт вся сжавшись. Мелодия сама задаёт себе горькое, воющее замедление. Но не видно слёз на лице исполнительницы. Она, как настоящий

творец, выше трагедии. О чём говорят слова, женщине хорошо известно. Она была путевой обходчицей. В сторону моря, к магаданским рейсам, часто шли составы с арестантами. Женщины везли с собой маленьких детей. Много умирало. Расписания составлялись так, чтобы спецпоезда успевали сделать остановку, где-нибудь у болота, у буерака. Туда относили трупы, наскоро чем-нибудь прикрывали. Машинистов, обходчиков, других свидетелей перед этим отгоняли прочь. Куда хочешь, только чтобы не знал. Любого видевшего могли тут же пустить в расход.

В посёлке насчитывалось ещё немало сочинявших песни. Все были женщины и – того же поколения. Уже не все оставались живы. По таланту, выбору слов, напевности моей бабке уступали теперь, кажется, все. Но в их творчестве, как и у неё, нельзя было не оценить неподдельной пронзительной искренности. Местная песенная антология притягивала какой-то необычайной смелостью. Было такое впечатление, что это не только знак содержания самого по себе. Песни будто прошли через некое горнило и уже в нём получили и всю свою красоту, и все свои права. В один из вечеров распевки проходили у одинокой пенсионерки, в домике, ближе всех подступавшем к озерцу с берёзами. Собралось человек двенадцать. Никто не спросил, кто я такой: бабка со своим стариком, пригласившие меня, имели тут бесспорный авторитет. Пели и на один голос, и дуэтом, и по трое, и все вместе. Великолепным было всё. Мелодии искрились, горели, рушились, воскресали. А какие слова! Мои предположения подтверждались: песни и в самом деле попадали в перемол, где выжить им становилось не так просто. Уже под конец войны секретарём партячейки был назначенец, не местный. Узнав о традиции поселковцев, захлопотал о создании официальной самодеятельности. Народ – ни в какую. Тогда агитировать он пришёл на одну из домашних распевок. И от того, что там услышал, едва переступив порог, чуть не рехнулся. Песней разматывалась драма, хорошо знакомая и исполнителям, и всем жившим на станции.

Арестантский вагон.
Будто – жизнь под уклон
мимо тащится, валится, катится —
арестантский вагон.

По решётке на каждом окне.
Горбылями забитые двери.
А внутри кто-то стонет и бьёт по стене:
«Это я; ждать не надо; прощай,
моя Вера!».

«Я дождусь!» – тут вагону она прокричала.
А уж катит другой —
что скалеченный сон.
И тому, как и первому, Вера опять
«Я дождусь!» – обещала.

С Колымою навстречу слова те ушли.
Эшелоны всё чаще за ними пошли.
И теперь уже каждый вагон
с обещанием ждать
Вера в путь провожала —
арестантский вагон.

Секретарь собирал актив – начальника станции, дежурных, бригадиров, лидеров профсоюзной и комсомольской ячеек: что, мол, делать. Оттуда был предложен компромиссный вариант: взамен огласки и последующей неминучей беды пусть-ка всё же соберутся певцы в официальный кружок. Но это дело хоть и дошло до первой репетиции, тут же и развалилось. Секретарь подсунул репертуар на свой вкус. Припев одной из песен требовал неумеренной патетичности и оканчивался словами: «…коммунистическая партия страны!». Кружковцы расплевались и разошлись. Беда подходила совсем близко. Певцы решили действовать сами. На встречу с секретарём делегировали двоих мужчин. Как работников, нужных железной дороге, их на фронт не забирали, предоставляя бронь. Если она отзывалась, можно было сразу считать себя мобилизованными. Что уж там с партийцем был за разговор, делегаты никому не сказали. Но тот с доносом помедлил. А вскоре и победа пришла. Хоть и не на долгий срок, а с подлостью было тогда не ко времени. Вскоре и опасного секретаря куда-то перевели.

У поселковцев мне особенно любопытным показалось то, что они совершенно не горели желанием отличиться в пении, обратить на себя внимание хоть кого-то. Любая самодеятельность, как мы знаем, создаётся меньше всего во имя желаний и удовольствия её участников. Роль кружков, ансамблей и прочих объединений уже изначально рассчитывается на показ уровня исполнения, на соискание соответствующих отличий. Я ни разу не наблюдал, чтобы станционные энтузиасты пения соревновались между собой. Это замечалось даже в позах: певцы рассаживались, не стесняя один другого, свободно, неманерно, вопреки тому, что, например, часто демонстрируют самодеятельные хористы, уплотняясь в рядах, томно склоняя головы друг к другу и проч. Исполнение могло устраивать, если достигалась более совершенная проработка материала и обеспечивалась его свежесть для восприятия. Мне в связи с этим вспомнился тургеневский рассказ «Певцы», где автор, истратив много краски на описание певческой дуэли, на сложные характеристики её участников и слушателей, даже не обращает внимания на то, что к исполнению в кабаке «Притынном» брались уже всем известные, устоявшиеся в употреблении народные песни. Никто абсолютно ничего не добавил своего. Понять, почему, не так уж трудно: кабацкие распевки не предназначались к развитию; там преобладал скудный элемент азарта, подогретый вином.

Мои дни в посёлке быстро подходили к концу. Своими расспросами, которые я сам мог считать назойливыми, я, к своему удивлению, не вызывал у моих новых знакомых песенников не то чтобы какого-нибудь неудовольствия, наоборот, я чувствовал к себе искреннее уважение. Бывшие сцепщики, дежурные, путейцы-ремонтники, локомотивщики, весовщики, заготовщики леса – они, как я замечал, находили приятным проявленный интерес к их занятиям и встречам, с годами становившимися всё более суженными и замкнутыми, чем то было в их жизни раньше. Несколько раз я отправлялся осматривать здешние места, которые считались памятными и в связи с которыми возникали стихи и мелодии к ним. Бабка, не забывавшая напоминать мне о коктейле, как-то повела меня от станции вдаль по путям, и, когда ходьба её порядком уже утомила, она, отойдя от колеи и присев на кучу отработанных шпал, указала на видные понизу, покрытые сваленной ветрами присохшей густой травой и мелкими кустами цепи оврагов. «Там», – проговорила она и потёрла глаза концом платка. Там было захоронение арестантов, умиравших в дороге, в том числе – детей. Искать тела и хоронить приходили тайком, по ночам, а поскольку место днём с насыпи хорошо просматривалось, на могилах не ставили никаких мет. Теперь уж и самих могил было не найти.

А вот песня, запечатлевшая всю глубину скорби знавших об этом, прямых свидетелей безумия государства и его опричников, ещё жила и притом – с её авторшей, тихо сидевшей сейчас вот здесь, на этом печальном перегоне.

Накануне отъезда я был приглашён на распевки. Их устроили для меня, что было в высшей степени почётно и дорого. Меня распирало волнение. Я пробовал благодарить, но этот ход был никому не нужен. Исполнители и они же сочинители своим приглашением сами бла-

годарили меня. Как я понял – и за мою, наверное, уместную любознательность, и за то, как легко мне удалось войти в сложный, необъятный мир их искусства, соединённого впрямую с их жизнью. И, может быть, ещё за то, что я оказался таким слушателем, который не спешит к исполнителям пения с похвалами, а воспринимает его в первую очередь для самого себя, становясь при этом, как личность, таким же творцом себя, как и они. Часть репертуара теперь была мне знакомой, но ещё звучали мелодии и слова, слышанные мною впервые. Сколько их тут всего, пожалуй, этого не сосчитали бы и сами творцы. Какой прекрасный набор! Несколько песен исполнялись по моей просьбе. А самым уже последним, как я того и хотел, отзвучал «Арестантский вагон». Потрясённый, я думал о великой изначальной силе песен и одновременно о том, какими бывают трагичными их судьбы, вставленные в эпохи, почти сплошь также трагические. Почему искусство энтузиастов, каким я насладился в эти немногие дни на этой заурядной станции и к которому я когда-то сам в одиночестве так энергично стремился, – почему оно не в состоянии выйти в масштаб, на свой, достойный великий простор, пребывает местечковым, сугубо замкнутым и, скорее всего, обречено спустя какое-то время совсем угаснуть, потерять себя навсегда? И что здесь приходит или должно приходить взамен?

Поезд медленно отходил от маленького вокзала, где на щебенчатом перроне оставалась кучка людей, пронёсших в себе умение создавать настоящие мелодийные шедевры и слова к ним. Настоящие – потому что они максимально соответствовали и чувствам своих создателей, и происходившим вокруг событиям. Хотя я и был очень доволен отдыхом от города и тем, что усталость от пустоты здесь проходила, сменяясь улучшенной конструкцией ощущений, я вместе с тем и грустил, как и провожавшие меня поселковцы, и в те минуты мы вместе, кажется, прекрасно осознавали, что нам всем грустно не только от расставания. Мы ощущали, как происходит прощание с эпохой, оказавшейся не только свирепой, но и способной вопреки всему воссоздавать в себе перлы самобытного творчества, неподвластного никаким сторонним воздействиям.

Я не мог не думать об этом и в пути к своему городу, и после, и много позже. Наблюдая за товарными поездами на станциях и на магистралях, в тех местах, где мне в те годы часто приходилось бывать, я в первую очередь обращал внимание на ещё долго не выводимые из употребления, куцые, двухосные, до предела изношенные, поднятые как-то поверх колёс вагонные ящики военного и послевоенного времени. Свежие надписи мелом на их обшарпанных, невнятного цвета дощатых боках делались, как это делается и в наши дни, поверх предыдущих. В спешке весовщики не стирали до конца старые надписи; на многих вагонах остававшееся так и продолжало смотреться в пространство перед собой горьким, отчаянным напоминанием о прошлом. Всматриваясь, можно было «вычислить» по отдельным слогам пункты отправления или назначения; а в ряде случаев сохранялись и целые слова. Тут читалась вся география отечественных путей сообщения и в том числе, конечно, география огромных по масштабам скорбных перевозок репрессированного люда, устремляемых в резервации Гулага в самые разные и более всего в самые отдалённые и самые пустырные районы страны. При виде каждого уцелевшего фрагмента былой надписи резко усиливалось во мне ощущение тела или чрева вагона, грязного, провонявшего, лишённого тепла и напрочь остывшего уже при первом похолодании, не допускавшего в себя дневной свет, распираемого гулом тяжёлых дыханий его пассажиров и от своего движения; за его стенкой, как мне казалось, я вот-вот услышу глухой надрывный плач арестанта, истомлённого мукой из-за несправедливости осуждения, дорожного голода и непрекращаемой темноты. И сами собой вспыхивали в памяти слова и мелодия песни, вселявшей надежду на возвращение – каждому, кому доставалась такая доля, ещё на пути в ад. Проезжавшие вагоны словно кадры нескончаемой гигантской плёнки мелькали у меня перед глазами, один за другим отзываясь ударами острой, щемящей боли в моей душе.

В самом начале, когда песня, так теперь меня волновавшая, только была приготовлена для исполнения, имя женщины, провожавшей арестантские вагоны, было в ней другим. Я хотел

это узнать, но так и не узнал точно. Авторша будто бы предлагала имя Вари, Нины или даже, кажется, Доры. Не хотела она вплетать в собственную песню ещё и собственное имя. Упрямилась до того, что отказывалась петь про вагон в хоре, дескать, не хотите, так петь я буду одна, сама, и без поправки, вам же не дам, и не позволю. Но скоро – сдалась, упрямство забылось, как, разумеется, должен был забыться и первоначальный, авторский вариант. Никто из поселковцев не находил нужным помнить, что там, уже в кои-то прежние времена, доводилось им разбираться в имени. По их соображениям, лучше Веры оно быть не могло. Ведь они все прекрасно знали: в жестокое лихолетье не кто иной как она первой приняла к своему сердцу вагонную арестантскую истерику и, в точности по обстоятельствам, отозвалась на неё единственно верной нотой женской жалости и женского соучастия. Следом за нею и другие женщины станционного круга и из поселковцев не упускали случая как-то ободрить и поддержать проезжавших арестантов. Сама бабка Вера, когда я спросил её, каким же всё-таки было имя в песне по её версии, распространяться на эту тему тоже не соизволила. «В том ли дело?» – только и было её ответом. Она улыбнулась мне мягкой грустной улыбкой как несмышлёному ребёнку-малолетке; в её голосе я уловил какое-то очень тихое и скрытое радование, какое бывает при воспоминаниях, если они хотя и благостны, а поддаваться им неохота. И мне стало ясно, что, как и во всём, к чему я успел здесь прикоснуться, не обходится без некоей особой и большой тайны, вроде бы как прозрачной и даже осязаемой на ощупь, отдающей вместе со своими чарами, кажется, и своё физическое тепло и вместе с тем остающейся и недоступной, и неразгаданной.

Мои впечатления от той поездки в станционный посёлок незабываемы до сих пор.

Я уже никогда не смогу окунуться в такую простую и одухотворённую атмосферу певческого искусства, какую мне благосклонно подарила судьба. Подобное искусство высшего образца возможно только при одном условии – когда оно формируется людьми для самих себя. В противном случае – скажу об этом прямо – оно недосягаемо. Пусть этому не так много примеров, но всё же они есть…

Уже писались эти воспоминания, когда прочитал я сообщение в печати о создании рок-группы при одной из отечественных епархий. О чём петь, её музыканты выбирают сами. «… слова не очень важны в песне – утверждала одна из активисток того ансамбля. – …песня о православии, о чае или молодёжи – мне без разницы, лишь бы музыка была хорошая». А далее в сообщении говорилось, что группа готовит уличный концерт – рокеры исполнят песни Высоцкого. Подобные выплески уже в порядке вещей. Вот что наговорил кинорежиссёр Михалков: «Судьба нашей державы зависит от детей, которых сегодня приводят в храм за руку. Они поют в хоре, старательно выговаривая слова, пока не очень понимая смысл, но это и неважно. Важно, что эти слова сакрально соединяют их…».

Значит: текстов понимать не требуется. Не следует ли из такого безразличия к словам то, что исполнители готовы к музыке «пристёгивать» любые строчки, даже нерифмованные, вроде газетных текстов? Но ведь в этом случае речь может идти только о тяжеленном речитативе. Оправданно ли совмещать его с музыкой современной, в которой господствует энергичный ритм? Речитативом распеваются пока оперные партии и молитвы. По силам ли и нужно ли это бесшабашным рок-группам?

Обиднее всего здесь за Высоцкого. Что в нём важнее – гитарное сопровождение, мелодии или слова песен? Похоже, этим вопросом можно не утруждаться. Но будет ли бард похож на себя без своих огневых, страстных слов? Чего будут стоить без них мелодии? Это – неважно! Хотя петь предусматривается не только для самих себя. Как быть слушателю?

Чем далее втягивают нас в такой абсурд, тем Высоцкий представляется и яснее, и проще, и выше. Когда говорят, что он создал, сыграл и спел около семисот песен, то, кажется, никто ещё не откомментировал – в чём тут дело. Лишь руками поразводили: удивительно! Феномен этой личности ещё не раскрыт, и пока попытки к тому ничтожны. Как исполнитель и как поэт

Высоцкий вроде замечен давно, композитором же его пока никто не возвеличал. Нотных-то записей он не оставил. И мы торопимся репродуцировать такой талантище!

Я берусь утверждать, что у него очень много сходного с теми самородками, каких неожиданно я повстречал в годы, уже очень отдалившиеся от нынешней современности. Это – городская вариация услышанной мною бедовой поселковой симфонии.

И там и тут – безбрежное песенное половодье, остававшееся наедине с собой. Замечу: разливалось оно в одно время, хоть часы сверяй. Будучи помоложе, Высоцкий творчески вырастал уже, конечно, намного бойчее, пением цеплял и себя, и свою страну, и весь мир. Но – та же у него боль, та же несломленная чувственность, то же страдание. И пел он вовсе не напоказ, как многие думают. Пел себе, пел только своё, для себя, хотел выразиться получше. Много пробовал, часто себя чуть ли не на ходу подправлял. И никак этим не насыщался.

Яркая, будто случайная вспышка на тёмном небе, навсегда оставшаяся строго в отведённом отрезке времени.

Кто возьмётся утверждать, что её бы – воспроизвёл? Для этого ведь пришлось бы воспроизвести не что иное как само время, его субстанцию, неотделимую от события вспышки! Спесь коробит всегда, особенно же – когда с нею подступают к гению…

Излагая очерк, я, разумеется, не умышленно упускал из виду ту канву, которая касалась поиска дачного уголка на станции. Не хотелось отвлекаться… Нашёл я участок с домиком, не подвёл знакомого. С этим помогли те же действующие лица из поселковцев. Таким образом, программу моей тогдашней поездки я выполнил целиком. Только знакомый меня, прямо сказать, разочаровал.

Всё у него сложилось; он, как дачник, определился по месту. Как-то я его спросил, нравится ли там. А он чуть ли не ругаться. «Народ, – говорит, – какой-то странный, замкнутый, отсталый. Старичьё. Собираются в избах, чего-то поют, ещё будто бы и сочиняют». «Ты из них с кем-нибудь знаком?» «Зачем они мне? Я человек свободный, зависеть ни от кого не хочу».

Столь извращённое понимание личной свободы характерно в людях нынешнего момента. Однако оно годилось и в условиях тоталитарного строя! Больше того: он нисколько не покушался на такие выверты. Поскольку они хорошо помогали извращать существо свободы, – как теперь считается, лучшего из принципов общественного бытия. Лучшего? То, что приобрелось, выходит, всего лишь – перетолчённое пошлое.

Этюд-поэма

ТАБАК

Табачным дымом пропитались речи в российском парламенте. Догоняя так называемые цивилизованные страны, депутаты возгорелись желанием продолжить уже основательно проигранную войну с курением. В этом порыве оставить-таки свой след в истории привлекательным выглядит то, что будут, может быть, отработаны устойчивые и хорошо понятные нормы не по части полного искоренения в людях пристрастия к табаку, а как бы примягчения самой проблемы курения. Сделать это неизбежно придётся через ограничители и определённые наказания, что вполне допустимо в рамках юриспруденции. О том, что нужны строгости, кажется, уже и не спорят. Нужны, и ещё как. В первую очередь те, которые стали бы эффективными. И если случится, что дело тут в конечном счёте хотя бы сдвинется с места, то, наверное, будет серьёзный повод засчитать полученный результат и в арсенал общественной культуры. Той, что необходима и каждому, и всему социуму.

Насколько проблема с курением велика и что в ней существенного, уже известно очень много. Но, конечно, не всё. В этих заметках в качестве народного эксперта выступает человек, которому хорошо знакомы не только нюансы увлечения табаком, но и чувства удовольствия и удовлетворения, какие он испытывает уже около четверти века, с тех пор, как он последний раз держал во рту зажжённый цилиндрик с табачной начинкой.

Наверное, каждый курильщик отмечал про себя некоторые особенности в потреблении им табачного дыма. Не только в манерах, которые тоже нельзя не учитывать, а именно в потреблении. Рядовой курильщик тут хотя и может служить наглядным примером, но это не тот случай, когда мы гарантированно постигаем явление в закономерности. Выводы будут намного ценнее, если присматриваться к людям известным и если эти люди известны ещё и в качестве курильщиков-оригиналов. Четвёрку таковых назову, не напрягая памяти: – Черчилль, Сталин, Лебедь и Шмидт. Можно и больше, но здесь количество не имеет никакого значения. Сразу поясню для малознающих, что Лебедь – это наш генерал, погибший в авиакатастрофе. Имел о себе преувеличенное мнение, сыграл роковую роль как один из подписавших государственную бумагу в Хасав-Юрте. Шмидт – экс-канцлер Федеративной республики Германии (1976-1982 г.г.). Его считают одним из популярнейших политиков высшего ранга в Европе и в мире. Черчилля и Сталина представлять, думаю, нет необходимости.

Что в этих курильщиках общего и, так сказать, нерушимого? Не побоюсь утверждать: – это их яростное увлечение табаком, нескрываемая к нему любовь, глубинная, цельная удовлетворённость потреблением. Не считая Лебедя, названные персонажи могли бы, наверное, используя власть, провести вполне приличные акции по борьбе с курением, в своих, разумеется, странах. И не потерять своего имиджа, даже если бы по ходу акций они, вопреки всему, продолжали оставаться курильщиками сами. О результате же, если подразумевать борьбу как с курением, так и с курильщиками, здесь говорить не приходится. Он, определённо, был бы со знаком «минус». Я этим сразу хочу подвести к мысли, что если борьба с курением оказалась бы проигранной в каких-то одних странах, то на проигрыш в ней обречен и весь мир. А, значит, не существует убедительных обоснований также и того, что по части удушения курева и в каждой отдельной личности имеется шанс на какой-то очень уж большой успех.

О четвёрке нельзя сказать, что эти люди потреблением табака себя ущемляли и ущемили. Шмидту перевалило за девяносто, и он на этом рубеже чувствовал себя прекрасно. Черчилль умер за девяносто. Свой немалый срок протянул Сталин. Наверное, и Лебедю нетрудно было

бы отшагать по жизни около того. И какова у них дюжесть! У каждого в привычке потреблять курево почти непрерывно, в огромных дозах. Можно было поразиться хотя бы генеральской выносливости Лебедя. В течение каждого, как правило, недлинного интервью, которое он давал журналистам, в пепельнице на его столе набиралось не менее десятка окурков. И при этом он курил мощными, прямо-таки зверскими затяжками.

Разве трудно из этого сделать заключение, что курево способно выражаться, по всей видимости, и немалой стимулирующей функцией. На такую трактовку иные тут же могут резко и осуждающе возразить. Чего, дескать, не за борьбу с куревом, не за его искоренение? И вовсе, мол, не по правилам, не вместе со всеми. Но одно дело разделять негодование, а другое – учитывать реальность. Она же здесь, признаем это – необорима. И единственное, что, как я полагаю, нам по силам, – это постараться извлечь из табака хоть какую-то пользу. Какую? Индейцы, например, вводили потребление табачного дыма в ритуалы. До сих пор в голливудских фильмах нам показывают эпизоды, когда с целью прекращения конфликта вожди племён раскуривают символическую трубку мира.

Что-то подобное в условиях ядерного противостояния было бы не иначе как смешным, и, однако же, именно в этой символической нише аборигенами американского континента угадано безусловное величие табачного феномена. Курево, если оно овладевает массами, в себе воспроизводит такую удивительную вещь, как человеческое общение. По ценности она не сравнима ни с чем. И она как никогда раньше востребована в нашей глупой современности. Поставившей нелепую цель чуть ли не силком растащить общественное по уголкам сомнительных индивидуальных прихотей. Люди, брошенные в стихию гнетущего, всё возрастающего отстранения и одиночества, уже, разумеется, ни при каких возможных доводах не откажутся от того порой самого последнего «исцеляющего» средства, какое даёт им совместное курение табака. Почему так тянутся к куреву подростки? В обстоятельствах развала структуры общества им более всего недостаёт общительности. Она ушла из семей, вытравлена в старших поколениях. Но если тяга к ней будет убита ещё и в среде молодёжи, мы получим социум идиотов.

То, что мы в состоянии извлечь полезного из табака, может содержаться в развитии культуры его курения. Иного, кажется, не дано. Что я здесь имею в виду? Черчилль со Сталиным, выходцы из позапрошлого века, курили, не помышляя о каком-то аспекте потребительской культуры. Пыхтели один сигарой, другой трубкой на рабочих совещаниях, иногда прямо в лица подчинённым. Давайте дружно им это простим. Тем более, что мы не всё могли видеть из того, какими некультурными они были. Ведь в их пору съёмки камерой делались ещё редко. Другое дело Шмидт и Лебедь. Эти, мелькая в кадрах, соглашаясь на интервью, не церемонились, не упрятывали табак, наоборот, постоянно и вызывающе вылезали на передний план с зажжённой сигаретой, напуская дым на нас с вами. Ладно, Лебедь, служака, муштровик, желавший выглядеть героем, уставшим от войны. Зачем равняться на него Шмидту? В интервью по случаю своего красивого юбилея он опять, как делал и всегда по скверной своей привычке, появлялся на телеэкранах в клубах табачного дыма, с сигаретой то в руке, то во рту.

Тему сохранения человеческого достоинства в деликатной сфере, где своё место занимает табак, я намерен рассмотреть здесь несколько шире и глубже.

В далёком детстве мне многое указывало на то, что курение само по себе есть элемент культуры в лучшем смысле этого слова. То ещё было такое время, когда потребление табака являлось привилегией исключительно мужской половины. По крайней мере так было в нашем селе. Некуривших мужиков я знал мало, но зато к ним относились парни возрастом лет до шестнадцати, в частности, мой самый старший брат, уже в свои пятнадцать работавший плугарём в паре с сестрой трактористкой. В местном населении война выскребала сильную взрослую половину чуть ли не до последнего. На все тридцать три двора в селе оставалось из мужского сословия всего несколько человек, полностью непригодных к службе в армии. Нам, терявшим отцов, до боли не хватало мужского присутствия, и мы не упускали ни единой возможности

побыть рядом с оставшимися. Мне везло больше, чем остальным, так как по соседству в отдельном доме жил очень уже старый чужой дед со своей бабкой. Дед курил табак, который сам выращивал. Теперь я забыл, но в те годы тоже мог с любым потягаться и в возделывании табака, и в его приготовлении уже для курева. Дед водил меня на свою мини-делянку за домом, иногда посещал и нашу. Табак, при его полном созревании, выгоняло там раза в полтора выше моего роста, в широченные листья, так что пониже их в эту пору возникал некий прохладный уют. Когда табак цвёл, на десятки шагов вокруг можно было учувствовать его сладковатый и какой-то очень мирный, взбадривавший запах, перебивавший другие. Дед подщипывал цветки к моменту, когда, по его расчётам, крепость, аромат, а также и вкус табака могли проявиться в своих наилучших значениях. Под убаюкивающий согрев летнего солнца, жужжание пчёл и пение птиц у меня легко укладывались в голове скуповатые рассказы старика об его участии в первой мировой, о работе у подкулачников и в колхозе при его основании, а самое для меня приятное было в будто бы случайных редких поглаживаниях его старческой загрубелой ладонью по моей головёнке и по худым плечам.

Дед любил курить с толком, долго слюнявил бумажку с насыпанной на неё посечкой и, усевшись на завалинке или на бревне, медленно тянул кайф, часто и смачно сплёвывая. Такими сидениями он перемежал свои бесконечные дела в доме, в саду, на огороде и на скотном подворье. Зима сопровождалась сидениями уже как бы непрерывными. Всего-то и дел оставалось ему задать корма скотине да обеспечить истоп в избе. Кухонные дела велись, естественно, бабкой. Я прибегал сюда каждый раз охотно и ожидающе. По снегу, которого набрасывало до крыш, вытаптывал тропу по своему и соседнему огородам и, позаигрывав с дедовым псом, дергал за ручку тяжеленной двери. Моментально в избу вкатывалось облако холодного пара. Тут же оно смешивалось с лёгким маревом избяного тепла, где отчётливо провисал и темноватый слой табачного дыма. Дед курил у печной плиты. Когда его самокрутка истлевала, он немного отдыхал, не выпуская при этом из рук плошки с табаком. Старательно пополнял эту меру, искрошивая ножом стеблевый и листовый запас на особом пеньке. В огне весело потрескивали поленья; струйки дыма, перевиваясь, медленно входили в поддув и в щели у истопной дверцы, навстречу пылавшему за нею огню; можно было ничего не говорить, ни о чём не спрашивать; нам, мужчинам, обоим это было очень по душе, и я, бывало, так и уходил от стариков, не обмолвившись с дедом ни единым словом. Уже дома, разбирая мельчайшие детали посещения, я продолжал ощущать на себе только что оставленную добрую теплоту соседской избы, настоенную на самосаде. Внутри долго держалась и волновала какая-то тихая радость, будто я сумел достичь именно того, к чему нетерпеливо стремился.

Дед ни разу не дал повода, когда у меня явилось бы хоть какое желание поддержать его в курении. Он курил и хорошо отдавал отчёт в том, что это всецело его стариковское дело, а я просто малец, к чему тут вообще хоть какие намёки. В этой отстранённости была масса обаяния. Деда я воспринимал со вершенно правильным человеком, таким, что у него всё по справедливости и всё возможно и достижимо в окружавшем его. От меня, видимо, требовалось не меньше, и хотя рассуждать мне об этом было ещё рано, всё же я не мог не осознавать, как велико во мне чувство благодарности к соседу, ставшему для меня столь нужным и щедрым.

Такими же содержательными были у меня встречи с инвалидом конюхом. Я заходил в конюшню помочь в подносе лошадям корма и в замене соломистого подстила, притрагивался к добродушным мордам узнававших меня коней, с упоением вдыхал стойловые запахи, иногда отводил рабочую лошадь к месту посреди хозяйственной усадьбы, где недоуздком привязывал к поперечной жердине на опорах. Отсюда лошадь уводили на работы те, кому выпадал на это наряд. Покончив с делами или прерывая их, мы с конюхом усаживались у ворот конюшни рядом на приставленной к стене дощатой, затёртой от времени скамье, и тут продолжалась для меня та же прекрасная музыка недостающего мужского общения. Оно было слепком с того, каким помнилось в предыдущем, при моих посещениях соседского деда. Курил смотритель

конюшни тяжело, поскольку страдал от болезней и уже умирал, но – в той же степени отстранённо. Нисколько не казалось мне, что он уходил при этом в себя. Наоборот, было ощущение, что вот сейчас, в этот момент, я вижу его как бы насквозь и знаю о нём всё. И столь же велика была моя благодарность к нему за это неторопливое тихое молчание, за ласковые тёплые редкие прикосновения огрубелой ладонью к моим волосёнкам на голове и к моим худеньким плечикам.

Председатель колхоза, потерявший руку в первые дни войны, оказался в нашем селе по назначению из райцентра. Он был ещё одним наличным представителем мужского рода местной общины, к которому я также был сильно привязан. При возвращении из школы я часто забегал в контору, где было всего одно помещение с небольшим столом и с десятком переносных лавок. Табачный дым висел там постоянно густой стеной. Председателю курево помогало выдерживать и нескончаемую усталость, и огорчения от неуспешных колхозных мероприятий. Пальцы единственной кисти были у него почти чёрные от табака, желтоватый цвет откуренного осадка проглядывал на рыжих усах и даже на губах.

Мои посещения конторы сводились к тому, что я передавал председателю табак от женщин. Первой попросила меня об этом одна старая доярка, слёгшая и тяжело переболевшая после того как получила похоронку на сына. Здесь, повторяя оставленный выше штрих, я должен сказать, что делянки под табаком заводились многими нашими сельчанами. Из-за чего покупать курево было не принято, так что его даже перестали завозить в сельпо. Когда мужиков позабирали на фронт, женщины, надеясь на их возвращение, взяли заготовку табака на себя, удовлетворяясь ещё и тем, что, вопреки суровейшему присмотру властей за ведением подсобного хозяйства, это занятие хотя бы не обкладывалось налогом. В избах, в укромных уголках, ждали хозяев бережно уложенные в тряпки отвяленные под навесом и отсушенные на открытом месте, под солнечными лучами, стебли с неотделёнными листьями, а ещё и посечка, которую хранили в кисетах. Если мужик погибал, это богатство продавать считалось кощунственным, а отдать в надёжные руки тоже было особенно некому. Председатель от женщин впрямую принимать не пожелал, усматривая в этом как раз то самое кощунство. Но когда табак передали ему через меня, он сдался. О моей дилерской роли сразу узнали, конечно, и другие колхозницы, и вскоре я появлялся в конторе уже, можно сказать, за своего.

Председатель, когда видел меня, мысленно, кажется, даже извинялся передо мной за своё безоглядное болезненное раскуривание. Однажды, подходя к конторе, я услышал там истошные женские вопли и завывания. Похоронки приходили сначала к председателю, и он, из-за нехватки работников, отдавал их женщинам уже непременно к темноте, с расчётом, чтобы их руки приносили пользу колхозу и во все часы этих кошмарных, чёрных, убивающих дней. А в тот раз пришло сразу три похоронки… Мучительные рыдания и всхлипы были нескончаемы, с ними, при моём появлении, колхозницы выходили уже из конторы, почти падая и страдательно держась одна за другую. Мы с председателем остались одни. Он подозвал меня к своему столу; я робко подошёл. «Тяжело, брат, сам посуди…» – только и проговорил он, остыдно склоняя лицо и пряча заморгавшие глаза. Оставшейся рукой суетливо подправлял свисавший от культи пустой рукав, не ладонью, а как-то кулаком протягивал по свалявшейся чуприне, нагребая волосы ко лбу. Так, нахлынувшим нутряным плачем, он поверялся мне, кому же ещё можно было тогда повериться по-мужски. Я положил на стол очередную передачу. «Видишь, курю-то я, выходит, за упокой», – выдавил он из себя и зарыдал, уже сильно, громко, не в силах больше сдерживаться и остановиться. «Помоги», – сказал он ещё, протягивая мне кусок газетного листа. Я оторвал на закурку, посыпал на неё табаку, послюнявил, неумеючи склеил, протянул. Председатель принял. Я достал из кармана моё личное сокровище – изготовленное с братовой помощью кресало, высек огня, дал прикурить. Только сделав с пяток мощных торопливых затяжек, председатель наконец пришёл в себя и насколько мог успокоился.

И так же, как и к соседскому деду и к умиравшему колхозному конюху, я испытывал теперь безмерное трепетное уважение к этому главнейшему в селе мужику.

Разве можно было тогда хотя бы подумать о какой-то нелепице, вроде тайного испробования раскура. Мы, дети, для которых табак становился вещью, нас укреплявшей и связывавшей со взрослыми, были, кажется, едины в строгом обережении самих себя. В селе временами появлялись то солдаты, совершавшие марши, то заготовщики сена для шахтных лошадей, то какие-нибудь проверяющие, уполномоченные. И наши детские отношения с ними строились по образцу, изложенному выше. Наши представления о тяжестях жизни возникали в нас непосредственно. Мы были детьми, но уже и взрослыми. И раз нам полагалось не торопиться с куревом до какого-то нужного срока, то мы и не торопились, предпочитая не оскорблять достоинства и прав старших не ввиду их возраста, а ввиду их доли.

Позже подобное, глубоко осознававшееся воздержание получало иные формы. Но того, что успело в нас войти, отделить от себя становилось уже не так просто. Конечно, к табаку был интерес. Где-то лет с десяти доводилось и мне подымить самокруткой. С окончанием же войны люди вообще расслаблялись, и у нас уже не было того необыкновенного восторга перед мужским присутствием. С его провалом и наши обязательства уже не имели столь мощного смысла. Но и напрочь они не сходили. Во всяком случае – для меня.

Только на третий послевоенный год, после двух жесточайших засух, случился урожай, с которого колхоз впервые за много лет и вовсе не щедро отоварил проклятые женские трудодни. По этому случаю в контору были занесены дополнительные столы и лавки, приготовлены какие-то блюда, сварена брага. Люди, отвыкшие радоваться, впервые собрались вместе, помянули не вернувшихся, пропели свои горькие песни. Державшиеся кучкой, мы, сиротская ребятня, одаривали уцелевших троих на всё село фронтовиков табаком из домашних сохранов. Дальше заначки для пропавших отцов уже имели только символическое, а не настоящее значение. Меньше заводилось и делянок.

Последнее, чем был для меня табак в детстве, я помню до единого штриха и, кажется, буду помнить, даже когда умру. Мама как-то увидела меня в компании пацанов, уже гулявших с девками. Поскольку я был самый меньший, она подошла позвать меня домой. А мне уже дали выпить бражки да ещё и покурить. Кое-как я доплёлся и сразу уснул. На следующий день чувствовал себя скверно, так что маме даже пришлось отпроситься с работы, чтобы присмотреть за мной. Просыпаюсь. Она сидит рядом. А на топчане у моего изголовья пачка папирос «Беломор», в той поре едва ли не равных знаменитому «Казбеку» или, может быть, даже «Герцеговине Флор». Первая мысль, что пачка пуста, в ней, должно быть, что-нибудь вложено. Не конфета ли? Мама на меня смотрит и говорит: «Это тебе. Ты ведь у меня уже взрослый». Я взял пачку, она была нераспечатанной, источала тонкий, новый для меня, но уже моментально разгаданный специфический аромат табака. И тут я всё понял. Я задергался в нараставшем яростном плаче, в судорогах, в сумасшедшем экстазе. Уткнулся маме в колени. Но успокоиться не удавалось. «Я не буду больше курить! Не буду никогда! Не буду! Не буду!» – эти слова сыпались из меня, кажется, уже в десятке громких истошных повторов. Я вскочил, выбежал во двор, потом на улицу, потом в огород и в сад, где у меня было ни для кого, кроме меня, не известное убежище под кроной старого береста…

Чуть позже, зная, что всё, что только можно, и притом авансом, ещё даже не взвешенное в трудоднях, было отписано ею государству в качестве обязательного займа, я допытывался у мамы: «Это ведь на последние деньги?» «Да», – сказала она и засмеялась: «Ну, не сердись и прости, пожалуйста. Я ведь не собиралась тебя обижать и обманывать, ты у меня и в самом деле уже по-настоящему взрослый, мужчина. Отец бы за тебя порадовался». Ну и что, скажите, можно было тут противопоставить этой необыкновеннейшей изо всех женщин, кроме чистой сыновней любви!

Уже уехав навсегда из села, где осталась мамина могила, мотаясь по общежитиям, находясь на воинской службе и много после неё, испытывал я к табаку некое безразличие. Сказывался ли в этом иммунитет, оформленный в прежние годы, в частности, клятвой маме? Не знаю, да и так ли уж это важно. Постоянно не курил, только в чью-то поддержку, чтобы не лишать себя общений. С той же целью покупал папиросы и сигареты. На непрерывный режим перешёл, когда мне было уже за тридцать. Став профессиональным сборщиком новостей, имел доступ почти всюду, даже на отдельные закрытые объекты. Многочисленные служебные знакомства, приглашения. Тут обильно и часто очень откровенно говорили, много пили. И табак продолжал выполнять свою связующую функцию. Романтика иногда открывалась самая настоящая. Помню, как среди тех, кто работал с иностранцами, пошла мода на сигары. Не абы какие, а лучшие в мире, гаванские. И даже из них стремились выбирать лучшие. Коснулось поветрие и меня. В курении сигар прелестей не перечесть. Табак скатывается исключительно цельнолистовый, он очень крепок, поэтому затяжки следует делать мелкие, иначе можешь поперхнуться, что в приличном обществе недопустимо. Можно сигару потушить на любом этапе. И после прикурить снова. Для удобного сохранения и пользования на куртке или форменке нужен специальный узкий нагрудный карманчик a la Fidel. Нынешним шалопаям на зависть! А самое любопытное состояло в том, что сигарный дым, оказывается, не раздражает дам. В компании куряк-сигарников женщина, даже если она решительная противница курения, ведёт себя так, будто разнюхивает изящные французские духи. Словом, женщинам сигары по вкусу. В России этот момент не изучен совершенно, а вот, скажем, на Кубе и особенно у индейцев о нём знают очень хорошо. Запах от сигары способен ввести женщину в состояние лёгкого возвышенного транса, а это, как понимаете, чего-то да стоит. Дым от экстраклассного табака не теряет своих ароматных свойств и когда он из трубки. Пользованием трубками я в своё время также довольно долго увлекался.

К романтической поре могу отнести один прелюбопытный эпизод в холодных рамках советско-американских отношений. Тогда не так просто было попасть нашему брату не только на торговое или рыболовное иностранное судно, а уж на военное – тем более. Но вот к причалу, ввиду какого-то инцидента, подошёл именно военный корабль, и не чей-нибудь, а – под флагом США. Когда такое событие происходило в последний раз, в порту даже не помнили. И упустить возможность побыть на том корабле я просто не имел права. С чем, однако, идти? Американцы, если они при должностях, щедры на презенты. На борту без обмена ими наверняка не обойдётся. И тут я вспомнил об одном старом знакомом человеке. Он воевал с фашистами и встречался с янки. Что, вы думаете, он мне посоветовал взять с собой? Правильно: те самые папиросы «Беломор».

Именно это советское курево, как предназначенное всем и особенно любимое офицерами, по высшей мерке оценили американцы, участвовавшие во второй мировой. За сырьевую чистоту, крепость и аромат. Говорили, что «Беломором» наши не стыдились угощать военных американцев самых высших должностей. Ну, я, разумеется, и сделал выбор. Купил две пачки на свои. И попал, как говорится, в самую точку!

Командир корабля оказался старым морским волком. Хотя в мировую он воевал ещё в самом нижнем чине, но о «Беломоре» был не только наслышан, даже доводилось ему уже в те времена покурить этот деликатес. Немного знал он и русский. Моим презентом он был по-настоящему растроган и, не побоюсь этого слова, – повержен, хотя, если честно, качество этого изделия по прошествии многих лет резко понизилось, и мы у себя в стране интерес к нему уже потеряли. «О, Беломо-о!» – восторженно говорил командир, строя произношение по-английски и пытаясь незаметно вдыхать папиросный душок. – «Very well. Да. Yes. I know». Затем, удерживая пачку перед собой, он сказал, меняя тон и глядя мне в глаза: «Excuse me! I know. Ваш Александр. Наша свобода. I m a reader».

Было ясно, что он соединяет в одном осмыслении уже не курево, а позорное рытьё канала советскими рабами и травлю одного известного русского писателя, бывшего зэка. Фамилию он правильно произнести не смог. «Солженицын», – подсказал я. – «Да, да. Yes. Souln-the-ni-sun». «Ну да», – на свой лад доводил я его до искомого: – «Солнце – ниже». «Yes, yes, yes», – он удовлетворённо закивал и широко, располагающе заулыбался. Предложил коньяку. С явным удовольствием раскурил из моего. В его каюте был уютный и доступный всем, кто сюда приходил, закромок, доверху наполненный пачками лучших американских сигарет того времени. Если ты гость, можешь, не спрашивая, открывать, закуривать, брать с собой сколько хочешь. Чуть повыше, на полочке, стояла шкатулка с отделениями для сигар и для насыпного сигарного табака, а возле шкатулки несколько курильных трубок.

Мы разговорились. Он из Вашингтона. Кое-что знал о Толстом, о Шолохове, о Набокове, о Пушкине. Дом неподалёку от конгресса. В тамошней библиотеке, а ещё и из средств информации получил достаточно ёмкое для той поры представление о Солженицыне, об его «Гулаге» и об истории со злополучным каналом.

Презентом была мне великолепная и внушительная по виду, почти как пиратская, трубка. Лучшего я и желать не мог. При выходе меня проводил один из офицеров. Когда мы сошли на причал, он вручил мне ещё и довольно объёмистую коробку. «Что в ней?» – спросил я. «Сигареты и табак. От шефа», – был ответ. Командир дружески помахал мне рукой с палубы у трапа, дополнив ритуал прощания знаменитым «колечком» (okay!).

…Романтика романтикой, но приходила, однако, пора по-настоящему заматереть мне в работе, да и семейных забот-хлопот что ни год прибавлялось. Отход от курева, перерывы с ним, которые я легко переносил, незаметно становились всё более редкими. Так я и втянулся.

О том, как, втянувшись, чувствует себя курильщик, говорить, кажется, излишне. Нового тут ничего нет. Любой заядлый потребитель табака, разумеется, болен. И хотел бы вылечиться, да не может. Я забеспокоился, когда стал испытывать одышку. Морил кашель. Быстро цеплялась простуда. При любой неприятности организм требовал увеличенных доз; начинаешь курить в машине, по ночам. Мне перестало хватать двух пачек сигарет на день, что уже ни в какие ворота. И я решился. Две или три попытки оказались бесполезными, поскольку в голову вкрадывалась мыслишка, что если после бросания чуток курнуть, то это ничего. Надо было бросить раз и навсегда. И это несмотря на то, что у меня в то время одна за другой пошли всякие служебные и житейские огорчения.

И всё же я бросил. Вот уже очень долго не курю! Хороший табак я не разлюбил. Его запах меня волнует сейчас не меньше, чем раньше, когда я курил. Но запрет себе есть высший из запретов. Не курю несмотря ни на что.

Наверное, изо всего изложенного нельзя не сделать вывода, что другим я, собственно, и не рекомендую бросать курить. Потому что у меня табак представлен во многом как интереснейший инструмент общения, добавка к языку. Если этим средством не пользоваться, навредишь себе. Мой опыт, думаю, вполне убедителен. Хотя к уже рассказанному, тому, в чём он состоял, на мой взгляд, следовало бы добавить и ещё нечто, самое, пожалуй, главное. Когда я говорил о волновавших меня встречах со стариком соседом или с конюхом, то, разумеется, не забывал о той особенности встреч, когда в ходе каждой из них ценным было для меня не одно молчаливое тихое сидение рядом с кем-то взрослым само по себе. Общение тут выражалось по схеме: от меня к другому и обратно и от другого ко мне и опять же обратно. А, значит, процесс не мог не включать в себя и элементов интеллектуальности, телепатии и, наверное, чего-то ещё. И поскольку шло обогащение чувственности, то получалось, мы с другим вступали как бы в двойной контакт, а если ещё точнее: нас было при этом не двое, а уже целых четверо. Больше того: если наша чувственность, постоянно обогащаясь, как бы всякий раз делает нас другими, улучшенными, что ли, то, значит, речь можно вести уже о такой степени полезности общения, когда оно безмерно. Полагаю, что и один человек, когда он курит, таким же образом

в состоянии развивать и поддерживать в себе подобную культуру общения с миром, со всем окружающим.

Конечно, хотелось бы знать о табаке только такое, выраженное в идеальном. На самом же деле многое тут приходится решать иначе. В первую очередь из-за того, что табак, безусловно, есть наркотик. В этом случае и о пристрастии к нему надо рассуждать по известной общей формуле и непременно как о деле только сугубо личном для каждого без исключения: сам начинаешь, умей сам и бросить. На помощь, в том числе и от медицины, какой бы она ни была иногда хвастливой, рассчитывать никому не приходится.

Я говорил о прелестях курения сигар. Это один из моментов, когда употреблением табачного дыма люди восполняют в себе жажду удовольствия. Последним в эпоху полного освобождения личности продиктован потребительский образ жизни. И это очень опасно. Хотя бы тем, что табак, придя в общество и завоевав его, создал прецедент общей необратимой снисходительности к его безмерному употреблению. Рано или поздно это у нас в России случилось бы и без Петра I, приказавшего завозить курево из-за границы и обильно угощать им сначала своих вельмож на разгульных придворных ассамблеях. То, что в наркотический табачный дурман вовлечено теперь всё общество, включая немалую часть женщин и детей, уже не скрыть ничем. И если как-то пытаться искоренять повальное пристрастие к этому наркотику, то ясно, что никто и никогда здесь уже не сможет добиться желаемого. Такова тоскливая драма этого теперь уже вечного вопроса.

Перед перспективой быть курильщиками люди сами в состоянии ставить себе барьеры. Далеко не все. Но многие. Поскольку табак по своему воздействию всё же сильно уступает другим наркотическим средствам. Если же не удерживать в себе страсти к удовольствию, то, само собой, дорога тут одна – в пропасть полной потери воли и физиологической зависимости.

Что касается административных решений, призванных упорядочить культуру употребления табака, то, полагаю, только они и были бы хотя бы в части исполнимы в обществе. Посмотрите, какие издержки мы несём и какие неудобства испытываем от курильщиков. Одна проблема с окурками чего стоит. Их бросают где попало и кто попало. На их уборку требуются немалые расходы. Дым, в котором сейчас уйма ядов, также давно не в радость. Он тянется из курилок в театральные залы, наполняет атмосферу офисов, гостиничных номеров, квартир самих курильщиков. Грязь и вонь от курева преследуют нас даже в больницах, в поездах, в такси. Исплёваны подъезды жилых домов, наружные площадки у общежитий, вузов и даже школ.

Не очень-то приятен и сам курильщик. Он неразборчив, суетлив и вечно озабочен, где бы ему приткнуться с куревом. Бросит любое дело, чтобы глотнуть очередную дозу. К нам, некурящим, у него не остаётся ни малейшего сочувствия. Наоборот, он сам грубо обращает на себя наше внимание, скажем, долгим надрывным кашлем, подчёркивая им, что в его страдании и боли виноваты будто бы мы, окружающие. Ещё круче небрежение к нам у курящих начальников, использующих табак для возвеличивания своей спеси. Наполненную окурками пепельницу курильщик, не испытывая угрызений, оставит убирать вам. Он норовит дымить и ронять пепел на кухне, в детской, в салоне авиалайнера, будучи приглашён в гости, со своими раскурками в пьяном виде или просто по небрежности может устроить пожар. Я говорю «он», одновременно подразумевая, конечно, и женщин. От них неприятностей не меньше, а, кроме того, табак для них и более вреден, так как никотином калечится непосредственная женская сущность, смыкаемая с развитием в ней плода, а в нём – с не столь уж редкой теперь дебильностью. Особенно мерзкие, унижающие нас приёмы раскуриваний и масштабного бытового загрязнения и антигигиены мы наблюдаем в ресторанах, молодёжных кафе, на дискотеках, летних площадках массового досуга.

Что со всем этим делать? Скажу одно: делать придётся так много, что, кажется, никто даже не знает, с чего начинать. Но не начинать уже нельзя. Могу указать на один пример. В

Сингапуре, повели борьбу с бросателями окурков. Подключили полицию. Виновных, если дело происходило на улице или площади, прилюдно заставляли брошенный окурок поднимать и так же прилюдно находить ему место. Нещадно штрафовали. Меры подействовали быстро, так что полицейским уже брались помогать и жители, прохожие. Получилось, и неплохо. Теперь в городе-государстве курящий десять раз подумает, определяясь со своим окурком. Кроме как в урнах, больше там нигде не увидите вы брошенную пачку из-под сигарет или мундштучок от уже искуренной единицы. Это уже ощутимый эффект. Как говорится, мелочь, а приятно.

В Литве, на моей исторической родине, нельзя не позавидовать чистоте, которая постоянно поддерживается не только ввиду каких установлений власти и не в одних только общественных местах, а всюду, где она требуется. То есть – куда бы ты ни пошёл, где бы ни очутился, тебя не настигнет разочарование из-за прилаженной где-то в углу смятой бумажки или пластиковой бутылки. О брошенных окурках и говорить нечего. Бывает, конечно, что и бросают. Но в стране есть и остаётся добрая традиция соблюдения чистоты каждым. Если внимательно наблюдать за жизнью, скажем, в Каунасе, то получите и наглядный тому урок: идёт человек, вокруг могут ходить другие или даже никого нет, и вдруг нагнётся, что-то подберёт и оглядывается. Это он за кем-то подобрал брошенное и теперь ищет урну или мусорный бак. Тоже как будто мелочь…

Таких бы мелочей побольше, да в Россию бы. Не приучимся к ним – не дождёмся, когда мы сами могли бы называть себя цивилизованными, культурными.

Аспекты личностного

ГОЛОС НАД БЕЗДНОЙ

У журналистов из-за их нескончаемой текущей занятости редко доходит до публичных исповедей или до обстоятельных рассказов о своих коллегах. Да и делать это порой не просто. Мешают стереотипы, согласно которым, как и в любых очерках, считается обязательным дать человеку некую служебную положительную характеристику или анкету о нём. Какой он герой, что занимал такую-то должность, имеет такие-то награды, звания, бывал в таких-то сложных ситуациях. Если этого нет, то как бы нет и героя, а, значит, также и человека, и писать о нём уже будто бы незачем и нечего. Эти вялые предпочтения настолько устойчивы, что от них не могут пока уйти ни издатели, ни редакторы, ни пишущие. Представляемый здесь текст выходит из обычных рамок. В рассказе о конкретном человеке данные из его биографии отодвинуты в сторону, и внимание обращается на то главное, что составляет фон общественной и личной культуры. Какие проблемы и почему возникают и существуют в судьбе творца, мастера? Что может его волновать и волнует больше всего? И какое значение в персональном приобретают эстетическое, творческое, красота?

Перед вами заметки, где суждения об этих непростых вещах даются частью в полемическом тоне. На переднем плане – личность ветерана журналистики.

Люди наших дней много подрастеряли из живых восприятий, привычек, состояний и других признаков, характерных для поколений предшествующих. Удивляюсь, как изменилось, например, отношение к физиогномике. Былая почтительность к этому предмету выражалась крайним утончённо-любопытствующим вниманием к личности, – когда человек в его наружном облике и больше всего в лице мог, как многим верилось, достаточно хорошо угадываться окружающими: кто он и что в состоянии значить?

То было отголоском эпохи, в потребность которой входил повышенный интерес к человеку – носителю всего или почти всего не только общественного, но и с уклоном на необычное доселе личностное. Даггеротипирование, а затем и фотография явились на этом пути настоящими открытиями в галактике частного содержания; наряду с поэзией, прозой и формами изобразительного искусства они заново определяли то нелегко уловимое и глубокое, что сосредоточивалось в каждом индивидууме и как будто сосредоточивалось в ещё большей степени по мере уяснения там некоторых «оттенков» того, в чём заключалось частное.

Поиски вполне конкретного, составлявшего предмет желаний предыдущей описательной физиогномики, не были напрасными. Сколь глубоки и ярки тут достижения классической литературной прозы! И какие одухотворённые лица видятся нам на снимках уже далёкого от нас прошлого! Что ни фотография, то почти художественный портрет; кажется: по отснятому изображению можно писать развёрнутую повесть о целой прожитой жизни, вместившей самое-самое из наиболее красивых и честных устремлений.

С появлением кино и телевидения многое в этом познавательном занятии стало другим.

Интерес к выраженности внутреннего во внешнем хотя и остался, но не на том уже уровне, – возможно, под влиянием фактора множественности, а также – укрупнения планов обозреваемого. Весьма частое показывание лиц через посредство искусства и СМИ обернулось утерей индивидуального в них; оно всё больше неразличимо и представляет скорее слепок с общего, где внутренней выразительности практически не находится места. Разумеется – другим стал сам человек; под напором новейших веяний либерализма в нём за короткое время резко прибыло того, что при одинаковости устремлений делает каждого похожим на усреднён-

ный образец. И если от физиогномии, как своеобразного способа познавания отдельного человека, что-нибудь теперь и осталось, то оно давно растворено только в безмыслимом разглядывании на экране, холсте или на отпечатанной странице нескончаемого потока лиц; внешнее в них само по себе обречено теперь не раскрываться в его движении ничем существенным. Это – просто лица. Симпатичные, красивые, запоминающиеся хотя и не редкость, однако одухотворённости, подчёркнутого богатства ума и чувственного в них замечается всё меньше и меньше. Профессора стало легко спутать с бомжом, артиста – с плотником, а ведь каждый, наверняка, не прочь смотреться ярче, достойнее, обстоятельнее…

Постоянные наблюдения над самими собой – лучшее, на что, не стыдясь, мы должны бы тратить наиболее ценную часть нашего интеллектуального ресурса. В том, как это делается или происходит, нам дано пока ощущать присутствие человека и по-настоящему в нём человеческого, несмотря на досадные здесь метаморфозы. Пусть убыло значимости традиционной физиогномики, так ведь есть немало и других приёмов для эффективного различения индивидуальных систем нашего общественного космоса. Будет беда, если в результате непрекращаемой зомбированности общества пустотелой информативностью (в том числе – в виде пресловутых рейтингов) счёт потерям с нашей стороны не уменьшится и, к тому же, в особой штриховке запечатлеется ещё и на наших лицах.

Сейчас можно уже говорить по крайней мере о потерях здесь нарастающих – как следствии нивелировки всего, что открывается и может закрываться в личностном.

Хотя декларируется внимание к человеку, но ведь его, внимания, часто нет, и часто мы сами прилагаем усилия к его устранению. Мы упускаем из виду оригинальность – как мету индивидуального. Почему-то удовлетворяемся больше её признаванием «сверху» или «со стороны», признаванием, нередко похожим на беспардонный оговор, – не доверяя себе, собственным оценкам. И в таком неуклюжем обывательском действовании нередко оставляем незамеченными для себя целые залежи характерного в человеке.

Что особенно в этом печально, так это то, что мы привыкаем к такой форме отчуждения, неустанно её культивируя и шлифуя. Что называется, стираем с человека грани, более всего в нём заметные. Хотя стереть ничего тут бывает нельзя, но действие всё же не проходит без «следов». Мысленно сопротивляясь, мы, каждый из нас, поддаёмся общему, соглашаемся оставаться в том приниженном положении, когда индивидуальность меряется не как целое с параметрами больше или меньше, а всего лишь как часть от целого.

Когда очень уже давно я очутился на новой для меня земле, где живу и сейчас, то был несколько удивлён манерой пристального смотрения здешних жителей, особенно из числа мужского населения среднего и старшего возрастов на кого-нибудь из незнакомцев или неузнаваемых. Взгляд будто упирался тебе в глаза и долго не смещался вбок или куда-то ещё; не смещался он даже при том, если точно так же вёл себя и ты сам. Какой-то частью зрения в этом случае можно разглядеть и немного «остального», однако «первая часть» интереса оставалась как бы упрятанной.

Что за всем этим должно стоять, мне так и не удалось выяснить в подробностях. Дело вроде как в желании вернее прочитывать какие-то особенности, размещаемые в зрачках, а, может, то – способ добавочного самоутверждения, вбирающий элемент гипноза. Но почему процесс увязан не обязательно с чем-то конкретным, где может присутствовать определённый побудительный интерес к той или другой личности, а проявляется даже в отношении просто незнакомых, случайных прохожих?

Я давно и, как мне кажется, достаточно хорошо знал человека, в котором познавательность в отношении к внутреннему очень заметно и плодотворно уживалась с неподдельным интересом к внешнему, к тому, что обозримо воочию. Это – Виктор Живаев. Он был первым из тех людей, с которыми мне довелось познакомиться на новом месте. Я сразу понял: его зор-

кий внимательный разгляд отличался именно той самой особенностью, характерной для многих. И мне дано было сразу же убедиться, что сама по себе она может рассматриваться даже одобрительно, если только за нею не скрыты снобизм или опережающая высокомерность.

Вспоминаю: остановив меня в редакционном коридоре, чтобы представиться первым, по своей инициативе, он долго и как бы придирчиво всматривался в мои глаза. От того, что коридор был недостаточно освещён и мы стояли друг перед другом, а уже не двигались встречь, ощущение «процедуры» казалось меньшим; и, однако, считать её как бы несостоявшейся я не мог. Позже, имея в виду нашу с ним вслед за этим «протокольную» ходку в ресторан, он неоднократно говорил кому-нибудь:

– Сидим, стало быть, с ним за столиком, напротив друг друга, пьём за знакомство и вроде как ненормальные вытаращенно разглядываем каждый другого…

До сих пор думаю: мне тогда, наверное, не оставалось ничего, кроме как действовать «взаимно», – чтобы не показаться понурым или исхитрившимся. Ведь навыков продолжительного и тем более вызывающего разглядывания хоть кого-нибудь я за собой не числил. Как бы там ни было, а столь необычная для меня процедура при знакомстве оказалась даже по-хорошему отправной. Практически, имея общее только то, что мы коллеги, ничем или точнее: почти ничем не зависимы один от другого, мы здорово пооткровенничали, что с лихвой заменяло тогда любую чопорную аттестацию. В дальнейшем отношения наши были доверительные, хотя и не до крайности, но всегда ровные и корректные. Никто никому в душу не лез, но, встречаясь, мы нередко поверялись в темах, касаемых не только общепринятого для своего круга. Таким способом в ту пору удавалось узнавать всё, что нужно, в том числе едва ли не весь официоз и его скрытую, тщательно упрятываемую часть, что отнюдь, кажется, не меньше, чем сегодня даётся истаившимися перед властью средствами массовой информации.

Откровенность необходима всегда; на ней основано полноценное общение. И вовсе не обязательно, чтобы она была как море без берегов. Ей надо быть прежде всего честной и частной. Каждый, таким образом, пользуется только своим. Вспоминаю случай, когда мне довелось увидеть, как Живаев изображал лицо другого. В России едва ли не первым увлекался этим искусством автор «Недоросля» – Фонвизин. «Копируя» вельмож, он, говорили, сумел тем самым добавить себе признания ещё в ранней молодости. И, видимо, говорили не зря: как уже отмечено выше, в те далёкие от нас времена физиогномия воспринималась чуть ли не разделом глубокого конкретно-естественного знания. То, как балуются с этим предметом нынешние эстрадники, показывает, что чего-то значительного в ней не достигнуто; по сути от физиогномии отстали, не сумев извлечь из неё ничего особенного, переводя интерес в оторванную от предмета и притом в запоздалую насмешку.

Живаев также, похоже, не стремился тут к чему-то радикальному. Просто в нём, кажется, брала верх его прежняя профессия театрального актёра и режиссёра, с которой он расстался, перейдя в телерадиожурналистику, но расстался не совсем, будучи постоянно связан с театром и сценическим искусством непреходящей и негасимой любовью на протяжении всей своей творческой жизни.

Человек, которого он изображал в лице, занимал в регионе высокую должность. Мне показалось удачным его «скопирование» через движения лицевых мускулов. Но сказать мне при этом было нечего. И я молчал. Это, может, было и обидно исполнителю, однако к моему «мнению» он отнёсся спокойно. И, кажется, это было в точку в том смысле, что ему, возможно, уже прискучили однообразные обывательские похвалы, которые вряд ли следовало принимать всерьёз. Пусть хоть что-то, но другое.

Могу сказать, что оценочное в таком ключе я замечал у него всегда. В первую пору нашего знакомства довелось нам быть вместе в одном районе. К вечеру, уставшие от дел, мы были приглашены райкомовцами на «природу». С ухой и прочим. Пока шла подготовка трапезы, я и Живаев на время отошли в сторону от костра и не торопясь обособленно прогули-

вались по раззеленевшемуся лугу, изредка вяло переговариваясь и сходясь почти рядом. Но вот он нагнулся к траве, сорвал маленький гриб, тщательно и шумно разнюхал его и, подойдя совсем близко, поднёс его мне к лицу.

Азартно спросил:

– Чем пахнет?

– Погребом, – сказал я, не придавая никакого значения, так ли это.

– Му…ак! – громко и неожиданно гневно выпалил спросивший, стараясь зацепиться долгим утяжелённым укоряющим глядением за мои глаза.

Как ни в чём не бывало я отступил в сторону и продолжил короткую прогулку. Больше тогда мы к этому эпизоду не вернулись; но позже на протяжении многих лет он, расшевеливая неординарное в том эпизоде, в присутствии кого-нибудь или только наедине со мной вспоминал:

– Не обиделся!..

Это звучало высшей мне похвалой, и я против неё ничего не имел и не имею, хотя мне кажется вполне приемлемым, что гриб может содержать и запах сырого погреба…

Как хорошо, когда в жизни такие ситуации приобретают столь старательно оберегаемую и по-своему справедливую многозначительность!

Чтобы отношения в такой плоскости могли состояться и пребывать в устойчивом положении многие годы, им, конечно, следует подпитываться внушительной внутренней культурой. Мне приходилось немало встречаться с людьми, у которых иногда за край выпирали приметы приобретённой образованности и культурности; казалось, на всё им хватало вкуса, достоинства, уравновешенности и толерантности; но вряд ли их можно было считать принадлежавшими к тому особенному типу интеллигенции, который выражен через некую слегка размягчённую и никогда не изменяющуюся непосредственность, – черту, не связанную хотя бы с каким-то намёком на её приобретение. Лишённые этого изящества, многие, как правило, не «удерживались» на своей вершине, часто на ходу меняясь под воздействием иногда случайных обстоятельств, а то и просто эпизодов. Суть же, думаю, в том, что интеллигент, если ему присуще по-настоящему видовое, то в таком содержании он «проявляется» как бы изначально; и оно, видовое, никогда в нём не убывает настолько, чтобы кто-нибудь мог это заметить, пусть бы тут было даже пошлое за ним подглядывание.

Имея в виду такую формулу «для примерки», я утверждаю, что мой коллега, будучи интеллигентом, ни в чём никогда не отходил да и ни за что не мог бы отойти от своей константы. Культуру и духовность, которые в нём были в наличии, даже трудно представить как заимствование, как насыщение. Скорее, в том – его характер, а, как мы знаем, характер изменить в человеке ещё не удавалось никому.

Мне не дадут ошибиться многие, кто слышал от него пересказы большущего множества притч, коротких анекдотичных историй и юморин: здесь ничего не могли бы значить простые заимствования; если они когда-то и служили ему отправным материалом, то всего лишь как «ничейный», общеизвестный фактаж, в определённой степени ещё в виде только предположения нынешнему содержанию; теперь их нужно расценивать уже совершенно иначе.

Они – часть рассказчика, его собственной натуры, та часть, которая каким-то загадочным образом переплавлена и сейчас воспринимается лёгкой, нескучной и всегда по-настоящему интригующей не только ввиду ершистой фабулы, но прежде всего по качеству мыслей. А самое главное – каждое такое миниповествование всегда добавляет в ту тему, которая у него будто невзначай из них выглядывает: это – любовь к родному, к эрзянскому. По ним как по добротному учебнику можно постигать и заучивать наиболее характерное и наиболее привлекательное в народе, к которому принадлежит поведывающий.

Не помню случая, когда бы кто-нибудь просил его высказаться в этом в излюбленной для него манере; ничего навязчивого не наблюдалось и с его стороны. Всё наступало как бы

само собой; и уже оставалось только слушать и констатировать приобретение чего-то здесь нового и задушевного. Не скрою, что будучи по должности обязан особенно тщательно изучать национальное в регионе, я почти не тратил времени на специальную литературу и пособия; их во многом и, как теперь нахожу, в наиболее существенном заменяло общение с Живаевым, когда при каждой новой встрече с ним я имел возможность постигать специфику местного с каких-то ещё не знаемых сторон.

Если говорить о тематике им рассказываемого, то, пожалуй, тут нельзя воспользоваться никаким измерением – настолько предмет представал объёмным и разнообразным. Вдруг откроется необычное по части традиций, ритуалов, ассортимента и способов приготовления блюд и напитков, отношений к общему состоянию нации и ещё много чего.

Всё это поведывалось не просто как любопытное само по себе, а в любом случае приоткрывался некоторый срез, даже сакраментальный, если требовалось для подчёркивания сущего, благодаря чему мгновенно и очень надолго укладывалось в памяти остальное.

Приведу пример из его воспоминаний о композиторе Леониде Воинове, человеке своеобразном и, как можно судить по воспоминаниям также других, довольно жёстком в оценках окружающего, предпочитавшего всегда оставаться недвусмысленным в его собственных суждениях, что приводило многих в состояние этического замешательства. Живаев хорошо знал и любил Воинова и самого, и его самобытное творчество, и его, с позволения сказать, эпатажность. Так вот, чтобы передать именно особенности его характера, не прибегая к отвлекающим длиннотам, он часто приводил одно и то же изречение Воинова, будто бы употреблявшееся тем при возглашении тостов. Будто бы этим изречением было: «…за ворота, из которых вышел весь народ!»

Понимаешь: некоторая весёлость и анекдотичность при таком или подобном обороте лишь одёжка большому смыслу, из которого легко самому извлечь и вполне серьёзное, нередко грустное и даже огорчительное, досадное. Сам рассказчик при этом также отнюдь не статист. Повествование увлекает его; им овладевает подъём настроения; чувствуется, как на ходу, быстро набирая энергии, импульсирует в нём творческое, в котором только и место непрекращаемой переплавке. И рождается всегда удивительно что-то хотя будто уже иногда и знакомое, но и необычное. Ещё раз вернусь к забытой физиогномике. В эти минуты Живаев бывал особенно выразителен. Яснеет и «обозначается» в конкретной теме его искрящийся, тронутый удовольствием взгляд, движутся брови, варьируются улыбка и голосовые интонации. А завершением очередного такого «цикла» бывает обыкновенно то, что он наклонит голову, приопустит брови и уже из-под них устойчиво и продолжительно глядит своими слегка навыкате смеющимися и добродушно выпученными глазами на кого-то, кто слушает его внимательнее других, начиная при этом иногда сам смеяться непосредственно, до короткого хохота. И никогда никакой рисовки, жажды во что бы то ни стало обратить на себя внимание, выделиться в виду как правило явного превосходства над остальными рассказчиками, если такие находятся.

Голос, разумеется, играет здесь особенную большущую роль, но и он не выдвинут поверх существенного, смыслового. Такое вот естественное качество у человека: ради выраженности личностного, индивидуального будто ускользают от восприятия способы – как это достигается. И будто самого человека они, такие способы, нисколько не занимают. Думаю, что в этой своеобразной и доброкачественной скрытности характерного находилась причина некоторой обывательской недооценки в нём его неповторимого голоса. Того, что, как мне кажется, являлось главным и намного перевешивало у него всё остальное, хорошо заметное и запоминающееся.

Работавшие в телерадиожурналистике того времени вряд ли могли считать себя настоящими профессионалами, не имея соответствующих голосовых данных. Речь, конечно, не о певческом таланте или голосовой мощи, а только о возможности за счёт выразительного произношения слов и предложений как бы приподнимать их значение. Будто бы утилитарная малость. Но её могло просто не быть в наличии, как это и случалось в массовом порядке с журнали-

стами, занятыми с эфиром. Сколь бы ни были точными и ровными дикция и отработанная манерность произношения, их для достижения наибольшей выразительности было недостаточно. Тут, бывало, отсутствовало самое главное: в произношении не находилось места чувственному и притом исключительно индивидуальному, что могло проявляться только в особых интонациях, в особом, очень редкостном тембре.

Лично мне пришлось убедиться в полнейшей собственной непригодности для работы в эфире, с озвучиванием слова. Отслужив срочную и принятый в одну городскую радиоредакцию, как теперь говорят, «с улицы» (оказалась вакансия), я знать не знал даже азов подвернувшегося ремесла. Не говоря уже о передачах в прямом эфире, – не получалось и в записи или в вычитке материала перед микрофоном. Почему-то сбивалось дыхание, голос начинал скрипеть, отвердевал и «прыгал» и тем сильнее, чем больше я старался. Короче, следовало уйти. К чему резко подтолкнуло и одно обстоятельство, о котором не могу не рассказать.

В студию для записи мною была приглашена ударница каменщица возрастом ближе к среднему. Передача готовилась как всегда в спешке на вечер того же дня, и, так как день, собственно, уже кончался, а женщина держалась весьма замкнуто и скованно, во всём полагаясь лишь на помощь ей, то и текст её устного выступления, конечно, приходилось на ходу сочинять нам с редактором, тут же и согласовывая с автором. Но вот наконец завертелись диски записывающего агрегата. Не скажу, что тут было что-нибудь примечательного. Обычный рутинный процесс, с остановками и перезаписью. Однако вот пошло воспроизведение – контрольное прослушивание сделанного. И первые же звуки речи ударницы буквально ошеломили.

Некогда было что-то в действе понять именно связанного с подготовкой передачи, требующего скорого осмысливания. Всё наше внимание и удивление сосредоточивалось только на том, что голос был объёмистым, лёгким, сочным, глубоким, нутряным, каким-то ещё. Слова о кирпичной кладке, взаимозамене работников на строительных операциях и о бригадном соревновании, употреблявшиеся тогда как часть отупляющей химерной идеологии, благоухали, переливаясь бесчисленными красками и оттенками, будто их поместили в пределы свежей утренней радуги. Они грациозно поднимались и повисали в спёртом студийном воздухе блестками сущей поэзии, вдохновенного, закрайнего.

Сбитые с толку, мы, радийцы, а всего нас было штатных двое, и не хватало третьего – диктора, как только было покончено с контролем, тут же и принялись уговаривать каменщицу перейти на работу к нам тем самым, не достающим. Женщина отнекивалась, утверждала, что малограмотна и что-то там вообще. Мы явно её теряли; и тогда, не успев придумать ничего другого, я опустился перед нею на колени, удивившись этому не подобающему обстановке порыву и сам и ещё более удивив присутствующих. Но не помогло и на сей раз. И так случилось, что наша недолгая гостья вскоре погибла, и её чарующий, захватывающий и непостижимый в таинственности голос только один-единственный раз прозвучал в радиосети провинциального городка. Забыть его не хватило бы никаких сил.

Эфирное озвучение голоса, принадлежащего герою этого очерка, мне вначале не показалось чем-то особенно замечательным, хотя оригинальность тут не приходилось «выслушивать» – она была налицо. Видимо, давала себя знать специфика репортёрского дела, в рамках которого говорящий скован прежде всего немногими минутами, отпущенными на участие в передаче. Этот момент был болезнен применительно в особенности к обязанностям собкора: он неизбежно ощущал себя в цейтноте, поскольку хорошо знал повадки редакторов рубить с плеча по самому иногда важному (я имею здесь в виду вещание впрямую, «живьём», которое раньше было в общем-то большой редкостью и требовало сверхсерьёзной «оглядки» на редактора).

Чтобы при этом «защитить» выношенное и приготовленное и не допустить выброса рассчитанных речевых минут, использовали обычно всё, что только сходило за старательность. Выговор снабжался особой расстановкой слов и акцентов к ним; всеми возможными способами

подчёркивалось наличие дополнительного смысла в отдельных предложениях и в периодах. Решались и на перескакивание через паузы, что сейчас является даже вроде как нормой репортёрского удальства. Почти никому не удавалось избегать также и вкрадчивости – своеобразного «примягчения» слов и оборотов, что воспринималось, безусловно, уступкой служебным обстоятельствам или подобием «внутреннего» извинения за свою роль торопящегося сказать о предмете непременно всё, что хотелось бы.

Человек, о котором пишу, не мог не испытывать таких же воздействий эфирного конвейера. Скажу больше: отдельные мелкие погрешности в изложении материала в нём, кажется, даже укоренялись, каждый раз уже и много позже выдавая принадлежность исполнителя к тяжёлой и нудной профессии, не щадящей никого.

Может быть, тут имело значение даже и театральное призвание, но в таком варианте, когда оно раскрывалось не на столичной, аншлажной, а главным образом только на провинциальной сцене, где в наши времена в любом случае на качестве профессионализма не может не сказываться недостаточное присутствие на спектаклях зрителей, публики.

Не хочу опускать этих замечаний, поскольку не ставлю задачей показать человека в идеальности, за пределами обычного, присущего очень многим. Думаю, наоборот, через такие «мелочи» можно точнее обозначить в его голосе самое главное: ту центровую опору, которая своей вершиной уходит далеко наверх и видится издалека. Нет необходимости давать в данном случае какие-либо определения этому голосу – дело тут заведомо и непосильное, и безнадёжное. Всё равно идентичного изображения оригинала достичь бы не удалось – столь значительна и многомерна его действительная палитра, наполненная неизменяемой красотой и, осмелюсь так выразиться, – подлинной культурой.

Не хотел бы при этом удерживать себя от замечания, что о культуре письменной, речевой или голосовой и вообще и в частностях можно не впустую рассуждать, только если не забывать её важнейшей составляющей – языка. Будучи инструментом общения, он способен раскрываться в человеке всем своим гигантским богатством, какое в нём есть. И если то, что в языке особенного и ценного как бы впрямую воплощается и выражается в отдельной личности, то как раз в этом случае и резон говорить о ней в том смысле, что здесь она состоявшаяся, а не мнимая.

Живаев, думаю, был счастлив тем, что его внутренняя культура образовалась, будучи размещена в истоках и сферах языковых, прежде всего, конечно, в истоках и сферах его родного языка – эрзя. Я здесь вовсе не имею в виду только простую его любовь к этому лингвистическому пласту или даже нескончаемое любование им, хотя о многом могут говорить и они, взятые в отдельности. Как-то на выезде в один из районов пришлось мне добираться в отдалённое мордовское село в компании со знакомыми горожанами – выходцами из него. Там должно было состояться народное гулянье; по местной традиции его устраивают каждый год в начале лета, а в качестве участников съезжаются из разных, даже очень дальних мест, родственники или бывшие родственники нынешних жителей села, а также их многочисленные друзья, знакомые, все, кто желает. Что значит такая прекрасная возможность общения, может по-настоящему оценить только тот, кто жил в селе и не утратил с ним связи, прежде всего духовной, обретаясь в городской трясине замистифицированного благополучия. Какие разговоры! Какие темы! Как все захвачены общей радостью! Ею прониклись и мои попутчики, молодые крепкие мужики, – ещё в вездеходе по дороге в село! Не умолкая, они шумно переговаривались на мокшанском, родном языке, казалось, не замечая ни присутствия не владеющего им, ни досадной череды сырых колдобоин, из которых сообща приходилось выталкивать застревавшую машину.

Никто бы в такой обстановке ни за что не обиделся бы на «земляков». Мне тогда подумалось, что и в принципе это невозможно и несправедливо. Привыкшие остерегаться по таким случаям вроде бы не признаваемого обществом неудовольствия русскоязычных, а точнее: русскоодноязычных, они ведь, как бы ни рассуждать, искушены в такой к ним неприязни и вот

теперь общаются не как обычно для городских, когда всё коротко, «с оглядкой» и наспех, а раскованно, с удовольствием, с каким-то даже смакованием речи. И всё как раз потому, что на своём родном да ещё и раскатывая произносимое насплошь, не прерываясь на другой словарь.

За свою жизнь многое уже к тому времени пришлось мне познать в национальном, но то потрясающее открытие стало для меня как бы знаковым. Велико, неистощимо для каждого воздействие и обаяние языка, если он твой. Чего там напыщенные имперские восторги Ломоносова или Тургенева о великом русском. Дорожить и гордиться пристало тут вовсе не великим (или часто даже преувеличенным), а тем, что есть, что является твоей собственностью и частицей тебя и в чём тебе легко и удобно как в материнском лоне.

Когда мне доводилось оказываться слушателем обычной беседы эрзян с участием Живаева, то неизменно я ловил себя на мысли, что и у него выходит одинаковое с «земляками», о которых говорилось выше: те же интонации удовольствия, даже какого-то физического довольства положением, в виду которого представился случай выразиться. Интонации угадываешь несмотря на то, что язык тобой так и остался неизученным, неосвоенным. Голоса передают содержимое почти полностью, неважно о чём идёт речь. А тот, который, конечно, щедрее в оценках родного и, значит, понимает его существо лучше, теперь как бы «заводит», раздвигая спектры и нюансы, что моментально передаётся и остальным. Бывает, в таких беседах выразится некая идиома, что-нибудь не переводимое ни во что. Для беседующих это пора настоящего блаженства; слово или ряд слов буквально обкатываются в их смысловых и звуковых оттенках; каждому хочется добавить при этом своего, умудрённого понимания. Живаев поддаётся такому состоянию блаженства всегда одним из первых и, увлекаясь, может предложить партнёрам сразу целую кучу языковых эрзянских красот, несущих в себе как бы самое сокровенное, чего нельзя по его ценности сравнить решительно ни с чем.

Множество раз бывал я с ним в непринуждённой обстановке и в городе, и выезжая из города в деревенские места – на сборку ли грибов, на заготовку ли банных веников, за чем-то ещё, и всегда, если рядом с ним оказывался хотя бы один его сородич по языку, можно было подкрепиться той радостью, которой сопровождалось эрзянское общение. Само собой, в селе или на природе вырывается всегда намного больше эмоций, чем в условиях города. А бывало и совсем удивительное. Это когда партнёров для беседы на родном нет, а рядом только я или такие как я. Думаете, *то самое* в нём затихает или – *на отдыхе*? Как бы не так! Что-нибудь говорим по-русски, и вдруг он, будто прикусив и тем выделив какое-то место в речи, начинает произносить идентичное, на его взгляд, видимо, более удачное и более ёмкое, на своём, пытаясь, нередко тщетно, обратить на него внимание хоть кого-нибудь из присутствующих. Произносит и так и эдак, вроде как примеривает – что же самое лучшее и безусловно самое лучшее. Сочно так примеривает, и опять же – с удовольствием, непременно обнажая примыкающее юморное или по-народному особо поучительное, и мы все вместе с ним, кто тут оказывается, вдруг убеждаемся, что нам тут всё хорошо понятно и нам всем хорошо, легко, приятно. А сам виновник преображения при этом, что называется, истаивает в удовлетворяющем радовании, когда, по его любимейшему выражению, – «как блином по пузу»; улыбка его или смех в такие минуты уже не только его, – они тут же переданы нам и приняты нами. Это его персональный эрзянский дар, который всегда до предела насыщен, весом и – от чистого сердца.

Намеренно рассказываю обо всём этом так подробно. Мало ещё, очень мало придаётся у нас значения национальному в том аспекте, что публично оно ведь толкуется как правило превратно и однобоко, больше с уклоном на преходящий официоз; бытовой взгляд хотя и существует, но поскольку этнос в государственном понимании всегда увязан с экономической и даже силовой зависимостью, то всё, что касается признавания его правового статуса, ограничено здесь часто лишь словоблудием и обманом.

По-своему взгляд на указанный предмет извращался в России при царизме, при советской власти; и на этапе нынешнем тоже достаточно заблуждений и предвзятого. Этнос, как и

всегда раньше, рассматривается «сверху вниз». Отсюда неизбежный перекос; он заключается в том, что даже губительное полное ассимилирование национального в официальной политике называется явлением прогресса, фактором движения «вперёд». И не только называется. Национальное ставят в унизительные рамки вечного избирания покровительства «наверху», неостановимого примирения перед участью быть стёртым с лица земли под действием иллюзорного прогресса, в котором сегодня уже нельзя не видеть не только «чисто» разрушительного, уничтожающего, но и просто античеловеческого, срамного.

Людям, принадлежащим к отдельным этническим образованиям, в таких условиях не остаётся порой ничего другого как обречённо принимать имперскую идеологию покровительства. Но как же им должно быть нелегко и досадно перед лицом их реальной жизни! В которой покровительство из-за нескончаемых неурядиц в государстве лишь звонко декларируется, а на самом деле на каждом шагу игнорируется и затаптывается.

Пребывание целых народов в этой сумрачной ипостаси носит все признаки масштабной драмы или даже трагедии. Нет измерения сроку их будущей определённой погибели, как нет и ничьего сочувствия, сопереживания их судьбе. С годами то же монотонное бряцание идеологическими пустышками, исходящее от «верхов», где уже снисходительно воспринимаются и бытовые наскоки, и другие перекосы.

Представителей этноса можно в этом случае по любому поводу уличать в сепаратизме или даже экстремизме, навешивать на них оскорбляющие клички, сочинять о них имперские по духу анекдоты и сентенции, поучать окружающей цивилизацией, умаляя таким образом уже и человеческое достоинство и тем, кажется, глумливее, чем этнос меньше по численности да к тому же если он территориально весьма рассеян. И что в результате? Страдающие от такого бесправия уходят как можно глубже в себя, нивелируясь в апатичности и показной покладистости, будто бы представляющей национальное в его благородном, желательном (кому-то) виде. По мере же того как со сцены уходят старшие поколения и на их место заступают новые, задвигаются всё дальше вовнутрь не только размышления о своей обречённости, но и непосредственные чувства, то иррациональное и трансцедентное, из пределов которого иногда рукой подать до тупого пофигизма, до веры в бога, отчаянного ухода в деятельность какой-нибудь случайной партии или ещё чего-нибудь такого же, в чём наступает отрицание необходимости всякого знания реального. Оно тут бывает, кажется, и лучше – ничего не знать.

И теперь приходится удивляться уже не степеням такой неустанно разрастающейся отрешённости, свойственной нередко подавляющему этническому большинству, а, наоборот, тому состоянию отдельной этнической личности, когда она по своей воле отказывает себе в отрешении и, раз отказав, больше никогда в жизни не позволяет себе возвращаться в капризы подавленности и скепсиса. Время бессильно надиктовать такой выбор, бессильны и другие внешние влияния. Этот момент связан, безусловно, только с характером человека, и вряд ли кому-либо удалось бы определить причину такой многозначной его составляющей на отрезке жизненной траектории. Будто в самом ещё начале личность омыта в особом источнике, и, выйдя из него, она уже как бы не считает целесообразным и нужным придавать значение даже возможности воспроизводства в себе «обратного» состояния. Действительно ли влиял на неё непосредственно тот источник, а, может, проявлялось в исходе что-нибудь и другое, – остаётся только догадываться, да дело здесь теперь вовсе уже и не в причине выбора как таковой. Главное – чем в итоге становится человек.

Думается, именно в этом случае можно говорить о таких его привлекательных качествах, которые выводят его на уровень подлинной культуры. Не замкнутой в национальном, а совершенно естественно и без выражения самоуничижающей благодарности размещённой на лучших мировых достижениях и ещё – без какого бы то ни было стыдливого небрежения родным, этническим.

Это не такой стиль поведения в обществе, когда придавливанием этнического продиктовано элементарное согласие на то, «что есть», согласие, как правило, желательное для официальной политики, гораздое постоянно афишироваться бодрой шумливостью и ничегонеделаньем. Уход в область банального примирения подрезает крылья не только национальной культуре, но и той «большой» культуре, которую как будто бы холят – в назидание, в пример национальному. Из нескончаемого прилаживания к национальному выходит и мало пользы, и даже мало смысла. Искусственно взбалтываемый пласт неизбежно оседает и вымывается, теряя своё назначение. И уже не помогают ни огромные материальные затраты, ни усердие постановщиков действа, ни заофициаленные признательности перед ними, их неумеренные отличия и награждения, в чём проявляется то же мало и плохо обдуманное холение.

Хорошо зная всю эту подноготную, человек талантливый и не принимающий версии официального фальшивого «развития», конечно, не будет оставаться вообще в стороне от процесса. Но он отбросит от себя всяческую суетность и демагогию, из-за которых разваливается и пропадает искусство, в том числе и особенно искусство национальное. Он исключит себя из общего состояния пузырчатой эйфории, как помехи, которою застится реальное, действительное. И будет к этому реальному и действительному подходить уже не как все или не как подогреваемое властями большинство, а только на свой лад, постоянно заботясь в первую очередь о возможности как бы посодержательнее выразить себя там, где ему на роду написано быть мастером. Он теперь делает своё дело с благородным умыслом быть и становиться в нём только выше, ни при каких условиях не падать и не опускаться, хотя тут как тут перед ним и условия для обратного: неустанно каждый день он оказывается терзаем наскоками «очень согласных».

В одном случае они уличат его в отсутствии патриотизма, в другом – в излишней самостоятельности и в независимых суждениях, в третьем – в успехе, который кому-то покажется незаслуженным ввиду, скажем, отсутствия того же патриотизма, и т. д. Карьера у такого человека обязательно выходит смятой, выведенной на обочину. Все будут знать, что, как личность и мастер, он оригинален, неповторим, выше многих иных, приспособленцев, прекрасно образован и вообще – «подходящ»; но из чувства солидарности наскокам уже не будет конца: смятым должен быть сам талант, если таковой есть в наличии.

Откупятся даже повышением в должности, присвоением какого-нибудь хлипенького звания, – чтобы только прикрыть этим настоящую мету, сделанную в порыве обывательского третирования: не наш. Соответственно такому человеку никогда уже не позволено будет стать на одной линии с местным бомондом или хотя бы каким-то образом действенно участвовать в обсуждениях важных проблем, касаемых его жизненного дела, и в выработке по ним решений. Чванство третирующих откроется для него в самом немыслимом и отвратительном виде, когда издевательство уже обряжается в формулу: «сам виноват».

Тогда уже и от лица власти, какой бы она ни была, такому человеку никто из чиновников, и в том числе из чиновников от культуры, не подаст первым руки в приветствии, не снизойдёт до его приёма в служебном месте, чтобы выслушать хоть о какой срочной и важной просьбе; ни за что не пригласят его на самое заурядное официальное собрание; уже ничем, разумеется, не помогут и материально, коль в том случается нужда. Наоборот, будут всем своим видом показывать, как не собираются его замечать и отдавать ему им заслуженное – дань трепетного уважения. И как бы в ещё большее оскорбление не только человека искусства, но уже и всей культуры будут суетиться то ли с прославлением средней ноги футболиста, то ли с изданной чиновником бездарной книжкой стихов о родном болоте, то ли с выскребанием кошельков на постройку дорогущего храма, устремляясь в средневековье. Избирательность на грани абсурда!

У меня нет намерения специально подчёркивать, что всё это в том-то или ещё в том коснулось и Живаева. Конечно, коснулось: таланту да ещё и скромному нелегко всегда и везде. Но здесь не место кому-то предъявлять счёт, как незачем и вообще этим заниматься. Предпо-

чту обратить внимание лишь на то, сколь трудной и несправедливой должна выглядеть судьба каждого, испытавшего сполна или хотя бы в части или ещё и сейчас испытывающего воздействие такой удручающей провинциальностью, – удручающей тем более, что она проявляется обязательно под присмотром или при прямом попустительстве или даже улюлюканье местной официальной власти, а, значит, ни спросить за несправедливости, ни тем более потребовать ответов тут, собственно, не с кого. Если верна посылка, что всё нечистое и обижающее можно пересиливать только добром, то как раз в данном случае не обойтись без давней сентенции: доброта хороша тоже не всякая, а лишь когда она бескорыстна и неподкупна.

Талант, сосредоточенный в голосе, Живаев ни разу не разменял на прочитывание на сцене или в эфире каких-то официальных или пропагандистских опусов, на декламирование опустошающих душу модных или вообще навязанных текстов. То – удел других. А он выступал всегда только с тем, с чем ему было легко и свободно чувствовать себя самим собою.

Из-за того, что цену своему голосу он сам знал по-настоящему, он и, закончив работу собкором от Москвы, после выхода на пенсию, не считал себя отставником в эфире. На протяжении многих лет шли с его участием спектакли по местному радио, многочисленные слушатели которых успевали вырасти, впитывая особое тонирование звукового контекста. Ни на какой другой не похожий голос тут просто нельзя было не отличить, не выделить его или даже не восхититься им. И, конечно, особое очарование придавалось ему в национальном языковом обрамлении, в семантической эрзянской ауре. Здесь-то и расположен был стержневой интерес исполнителя, стремившегося через богатство оттенков родной речи буквально рушить традиционную декламацию и вычитку.

Не обнаружите в этой работе ни одного предложения, ни одного слова, произнесённого просто так, абы с плеч долой. Во всём потоке – освежающие блёстки; движимая масса как бы видна и чувствуема насквозь по всей глубине. Просто, непринуждённо и вместе с тем – удивительно хорошо распознаваемо в любой момент. Настоящая работа!

Исполнителя она и охраняла, и крепила, и вдохновляла. Отсюда же и его умение ценить по-настоящему талантливое в других людях. Я свидетель многолетней трогательной дружбы Живаева с ещё одним представителем старшего для него поколения – с Владимиром Киушкиным и трогательной же заботы о нём, о его здоровье и бытовых условиях. Не раз он обращал при мне разговор на факт официального забытья, в котором на последнем отрезке своей некороткой жизни оказался этот гордый человек, исполнивший на сценах в столице и на периферии десятки оперных партий, в том числе – ведущих. Роднило обоих не иначе как то, что каждый обладал голосом, предназначенным раскрывать только им присущее, индивидуальное. Но, думаю, не обходилось тут ещё и без такого соучастия друг в друге, в основе которого могли размещаться обиды, связанные с незаслуженным административным равнодушием к ним или даже, может быть, их умышленным игнорированием. Как многочисленны, к сожалению, факты столь позорного для нас безразличия, приводящие к очерствлению и выхолащиванию чувственного, души.

Как-то вечером в зимнее время засиделись мы с ним у него дома. Рассуждали о текущих новостях, об уже наступившей старости. Есть, наверное, у меня такое, о чём никогда и никому я не мог бы рассказать, спросил он. Я тогда наскоро ответил вроде того, что, видимо, не исключается, должно быть, есть. А сам подумал: не по своей ли части у него тот вопрос? Явно уже были к тому и причины. Всегда знаемый на людях оживлённым, в бодром расположении духа и свежий лицом, он уже чувствовал подступы нездоровья и, конечно, тяготился ими. Из-за того, в первую очередь, что приходилось ограничивать себя в деле, сомкнутом с голосом. Да и в целом наступала уже пора, что называется, менять привычный стиль.

Раньше, глядишь, собрался непоседа уже даже в немалые свои лета, съездил куда-то в район, в какое-то неблизкое село или же подвигался по городу, поучаствовал в очередной радиопостановке, – и неизменно был виден на своей высоте, как бы приподнят, уверен в себе,

соблазняясь ещё и каким-нибудь новым занятием или же нещадно тратя время на телефонные переговоры, на опеку многочисленной родни (только родных сестёр у него насчитывалось девять!) и вообще земляков.

Плотнейшим образом связанный с населением региона, не упускал возможности поприсутствовать на массовых праздниках, встречах с людьми искусства, практиками и знатоками аграрного сектора и промышленной индустрии, на похоронах. О театральной стихии разговор особый. Скажу здесь так: в театре, которому Живаев отдал много лет, не могло быть премьеры, чтобы он не присутствовал на спектакле; мало того: как один из авторитетнейших активистов местного отделения театрального общества, он неизменно участвовал в обсуждениях репертуара, буквально с каждой постановкой, как с процессом, бывал хорошо знаком от самого начала, заранее влияя на будущий её успех у публики.

Теперь всё менялось. И надо же было случиться такому, что худшее сразу коснулось самого в нём значимого – голоса. По какой-то причине однажды он сел, заставив обладателя изрядно поволноваться и потревожиться. Затяжной процесс тогда удалось-таки благополучно преодолеть, и мы все опять имели возможность видеть неугомонного энтузиаста в его обычном привлекательном облике – с тем же его участием во всём возможном, с юмором, с корректностью и улыбками, с любованием своим, национальным. Само собою, он возобновил в тот раз и участие в радийных спектаклях, хотя и давалось это уже отнюдь не легко.

Болезни одна за другой стали ему мешать. Операции, хождения по лечебницам, по аптекам. Была оставлена дачная территория, где он с любовью копал и выращивал едва ли не за пятерых и с большим эрзянским толком. Разумеется, из-за того изрядно приуныл. Но, как и в предыдущем, – только временно. Не взять такого!

Нам, видевшим его уже значительно реже, было радостно знать его всегда готовым одинаково и на очередную собственную юморину, и на серьёзный разговор о театральной новинке, пусть это бывали постановка Волчек, драматическая вещь Розова или трагедия Софокла, и на обсуждение кем-нибудь удачно написанных книги или статьи, чем-то запомнившихся ему телевизионного или радийного репортажа.

С тростью в руке, ослабевший и несколько потухший из-за недугов, он не оставлял желания полноценно пообщаться с коллегами, друзьями, а тем более с любым из эрзян, когда ему выпадало удовольствие окунаться всею душой в самую подходящую для него жизненную среду.

Думаю, что в обстоятельствах, диктовавшихся нашей разорванной эпохой, просто недоставало возможностей для более полного раскрытия потенциала, заложенного в его характере.

Он мог богаче выразиться и в профессиональном выборе, и в творчестве – на ниве культуры. Хотя, по большому счёту, вовсе немало и того, что раскрылось и хорошо запомнилось нам, со стороны. Столько бы да каждому. Потенциал этого человека был ощутим в разнообразных привлекательных оттенках, что даёт право говорить о завидной гармонии в индивидуальном. И тут важно всё, вплоть до мелочей, на что я, может быть, не в меру настойчиво обращал внимание в этом рассказе. Полезно и соприкоснуться с такой гармонией, и взять от неё себе. В персонаже её легко распознать, если ещё хотя бы раз прослушать в записи его слегка взволнованный, зовущий, пульсирующий голос, каждый раз как бы раздвигавший для нас безграничную специфику народного, к сожалению, всё дальше повисающего над бездной.

Театр: от порога до кулис

ЦВЕТЫ ВДОХНОВЕНИЙ

Не тот сегодня театр, что мы имели ещё несколько лет назад, а тем более несколько десятилетий назад. Нам он любезен таким же, как и в те времена, когда впервые довелось его посетить и окунуться в стихию сценического представления.

Всё так же манят живое слово, талантливые жесты персонажей постановок, световое и музыкальное сопровождение, декорации, чувственное возвышение тех, кто наблюдает за игрой артистов из зала. Много, очень много устоенного, привычного. И всё же давно театр уже не тот.

Я люблю появляться на спектакли раньше других зрителей. Перед тем, как зайти в зал, нужно пройтись по вестибюлям и переходам, осмотреться, приготовиться, воодушевиться.

Такой настрой необходим, поскольку в этом случае легче сопоставлять игру на сцене с антуражем, её предваряющим.

Приятно удивляться новым изменениям в интерьере. Вот убрали со стен прогулочной залы портреты, которых было очень много, и, кажется, выше теперь потолки, больше простора, больше удобства.

Вместо портретов размещены красочные панно, и размещены так, что не убыло пространства и света от электрических носителей. Ещё заметишь обновлённый паркет, обилие зеркал, причём таких огромных, что они отражают целые стены напротив и всех, кто тут собирается. Если стоит холодный сезон, то тепло едва ли не главный предмет, от которого будет зависеть успех постановки. И его, тепла, действительно хватает. Настолько, что хочется приходить сюда просто так, чтобы ощутить себя раскованнее и соответственно потеплеть душой.

Первые посетители отличаются от всех остальных каким-то светящимся, умиротворяющим достоинством.

Им не надо спешить. Они могут фланировать по «входным» помещениям, заводить пространные беседы, сколько угодно фотографироваться, обмениваться информацией о предстоящем спектакле. Это те главнейшие поклонники театра, которые заранее знают всё необходимое для полноценного восприятия сценического действа и соответственно будут самыми строгими судьями этому актингу.

От тех же, кто приходит позже или уже прибегает к началу спектакля, ждать высокого предварительного настроя и качественных оценок можно, видимо, только в исключительных случаях. Единственно, в чём они заметно проявляют себя, так это в том, когда их увлекают аплодисменты горячих поклонников. Присоединяясь к одобряющим хлопкам, они вряд ли осознают, как важна их роль в современном театральном деле, а тем более – что она, эта роль, невольно сводится к функциям клакеров. Говорю так даже не от себя. Газета «Сударыня», напечатавшая большой материал об артистке Павловой, приводит её слова о том, что «сейчас в театр по желанию ходят лишь единицы, остальные же – по принуждению».

Новые замечания об особенностях нынешнего театра и театральной жизни, которые приходится читать или слышать от зрителей и от служителей этого раздела культуры, дают достаточно поводов для ещё более новых оценок содержания театрального искусства как такового. Соответствует ли ему тот внешний антураж, который в принципе очень легко создать или обновить даже при очень скудных теперешних отчислениях из бюджета на развитие культуры?

Если чуть ли не абсолютное большинство зрителей ходит в театр по принуждению, то, собственно, что это за странность? Кто же на самом деле включается в состав почти абсолютного большинства?

Или это наговор?

Следует задуматься: для чего мы строим и обновляем театральные здания, обучаем и содержим огромную армию артистов, режиссеров, администраторов? Для чего используются старые и пишутся новые пьесы и либретто, разрабатываются и подаются постановки? Нет ли здесь того самого, что хотя к театру может целиком и не относиться, но издавна именуется театром абсурда? И не его ли пытаются прикрыть светлыми шторами разного рода борзописцы-одобряльщики и лапотники от культуры? Нужно ли им верить, в то время как и в самом деле театр сегодня вовсе уже не тот, чем был когда-то и чем он должен быть?

Может, и раньше ходили в него по принуждению? От такого вопроса заядлым театралам, вероятно, не по себе. Но разве мы не наблюдали массу тому примеров?

Однажды, это было в театре драмы в Саранске, сидя в ряду недалеко от сцены, где шла постановка, я ощутил прикосновение ладони к моему плечу и настойчивый женский шёпот: «Когда закончится, вручите этот букет вон той, в главной роли». Таков был смысл навязанного мне поручения. Я его, разумеется, исполнил, и даже сверх того: за какую-то треть минуты наговорил артистке целый ворох комплиментов. Как же было без этого! Ведь она вправе была думать, что цветы лично от меня, что они – не служебные.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.